

Яна Долевская Горицвет Лесной роман

Часть первая

I

Тропа шла вдоль извилистого оврага, заросшего травой и колючим кустарником. Когда-то давно, как рассказывают, в самой глубокой его промоине, на дне, под навесом из густо переплетенных корней и трав, был устроен схрон разбойников, наводивших ужас на всю округу. Они грабили и убивали проезжих купцов, помещиков, не брезговали даже нищими. А еще прежде, когда поблизости не было нынешних деревень, в нем находили пристанище целые волчьи стаи. С тех самых пор, а каких именно, теперь мало кто вспомнит, это гиблое место и прозвали Волчий Лог. От него по сей день никольские мужики, и особенно, бабы и ребятишки, старались держаться подальше. Уж больно страшные были, перепутанные с еще более жуткими вымыслами, окутывали это «заклятое урочище».

Жекки иногда вспоминала, что семейная легенда приписывала одному из ее далеких

пращуров — отпрысков большого служилого рода — верховенство над теми самыми разбойниками. Помнила и совсем уж невероятные рассказы о своей прапрабабке-колдунье, будто бы привораживавшей лютым зельем добрых молодцев. Но эти, как и другие, впитанные с детства «преданья темной старины», не занимали ее. Простонародные предрассудки, рожденные невежеством, трогали еще меньше. Она частенько проезжала вдоль Лога, незаметно привыкнув к тому, что ее разъезды вызывают у крестьян весьма недобрые пересуды.

Мужики сторонились нечистого места. Верили, что зло, засевшее «в глыби, под земной червоточиной», можно как-нибудь нечаянно растревожить. За молодую барыню из Никольского они, понятно, не беспокоились. Печалило мужиков, что через барскую опрометчивость и барские причуды неминуемые беды перекинутся на все «обчество» или, того хуже — на все, что испокон века наполняло жизнью и смыслом известный им, разведанный мир.

На все бескрайние, раскинутые под сизым небом, грубо изрезанные межами, скудные и горькие от пота ржаные поля. На просторные пойменные луга с их душистыми травами, которые так сладко сочились после июньских дождей и так густо темнели от пробегавшего по ним угрюмого

ветра, на прозрачную гладь вечно уклончивой в своих глинистых берегах речки Пестрянки, да еще — на глухие и пряные, как мед, лесные чащобы, что надвигались со всех сторон, точно неприступные стены, накрепко, раз и навсегда, замкнув в кольцо плененную, но все еще не до конца покорившуюся землю.

А вот николевская помещица, вообще очень далекая от всякой мистики, упрямо отказывалась замечать какую-либо потустороннюю опасность. Напротив, точно рассчитав, что благодаря тропе, идущей через Волчий Лог, дорогу можно сократить, по крайней мере, на полторы версты, и будучи весьма практичной, Жекки никогда ей не пренебрегала.

Она благополучно выбралась на правый, более низкий склон оврага, сплошь покрытый мелкими кустиками горицвета, и ее взгляду открылись длинные, по-осеннему пустые, поля. Лишь на самом горизонте их обрамлял тлеющей кромкой желто-багровый лес.

Прозрачная сентябрьская дымка, повисшая над землей, сливалась с бездонно-белесой далью небес. Разряженный воздух звенел от малейшего колебания. Все звуки в нем обретали обостренную чистоту и пунктирную четкость. Так гулко и четко отзывалась под копытами Алкида земная твердь, пронзительно рвался и гудел, разрываемый

бешеной скачкой ветер, когда Жекки неслась верхом напрямик по жнивью. Легкий поток встречного солнца слепил, казался то нестерпимо белым, то огненно-алым, а запах жнивья, опавших листьев, и раннего холода, смешиваясь с запахом конского пота, опьянял как ежевичная настойка старого лесника Поликарпа Матвеича, известная в их краях под названием «поликарповки», крепче которой Жекки никогда ничего не пила.

Она уже нисколько не понукала Алкида, дав ему полную волю. Конь летел, выбрасывая из-под копыт мелкие комья сухой земли. Когда же громоздившийся впереди лес заметно вырос, и каждое дерево стало хорошо различимо, Жекки слегка подтянула поводья, осаживая разгорячившегося любимца. Алкид отозвался послушной рысцой, поняв, что дальше лететь сломя голову не получится. Навстречу им выдвинулся молодой редкий ельник. Дальше начинался большой Каюшинский лес, и здесь, в широких просветах между темным лапником Жекки заметила бегущего трусцой еще одного своего давнего приятеля. «Пришел, хороший мой», — радостно поприветствовала она.

Рядом с человеком его вполне можно было принять за большую дворовую собаку. Высокий, на мощных, крепко поставленных лапах, с прямо опущенным пушистым хвостом, остро торчащими

ушами, покрытый светло-серой, кое-где с пепельным оттенком, густой шерстью и резко суженной мордой, имеющей почти всегда одно и то же бесстрастное выражение, он неизменно производил на Жекки впечатление необыкновенного существа, хотя это был всего лишь волк, правда, необычно крупный и обладающий нетипичными для его собратьев повадками.

— Э-эй, Серый! — крикнула она, заметив, как он бежит между елок, не сворачивая в сторону и не выпуская ее из виду. Серый прекрасно знал, что слишком резкое сближение не понравилось бы Алкиду. Конь с трудом переносил дикого знакомого хозяйки, несмотря на уже усвоенную привычку, проезжая через лес, всегда находить его поблизости.

Жекки еще сильнее осадил коня, направляя его в лесную чащу. Думала она сейчас о Сером. «Должно быть, я люблю его. Когда он рядом, становится как-то легче на сердце. И как он все понимает, лучше самого умного пса. Алкида надо вести, наставлять, приказывать, а Серый всегда сам знает, что можно, а чего нельзя. А когда он смотрит...» Тут Жекки невольно пришло на память, как минувшим летом она случайно встретила волка в лесу, у Зеленой заводи. И от этого воспоминания ее, как и тогда, слегка зазнобило.

В тот день было очень жарко. Спасаясь от жары, после полудня она уехала в лес, и, оставив Алкида неподалеку от просеки, пошла к заводу, чтоб искупаться. Как хорошо было, скинув с себя всю одежду, войти в чуть зеленоватую, мягко обволакивающую воду. Бухнуться в нее, широко расставив руки, и, весело окунувшись с головой, неспешно поплыть, наслаждаясь каждым движением среди блаженной прохлады. Жекки с детства хорошо плавала и любила плаванье почти так же, как верховую езду или игру в лаун-теннис. Вообще спорт привлекал ее заметно больше, чем уездные балы или музыкальные вечера под попечительством старшей сестры Ляли — Елены Павловны Коробейниковой, дамы чересчур «развитой» на взгляд местных обывателей, совершенно не понимающей, в отличие от Жекки, как молодой интересной женщине может нравиться «замуровывать себя в деревне». Конечно, Жекки была интересная и молодая, и даже, вполне замужняя, но в ее представления о положенном ей образе жизни почему-то не входило очень многое из того, что старшая сестра считала необходимой, хотя и скучной, нормой.

Жекки с удовольствием бултыхалась, переворачивалась на спину, ныряла, подплывала к берегу под коряги, выпиравшие из скользкой глины, зная, что здесь ее никто не потревожит.

Добравшись до берега, с чувством приятной расслабленности она прошлась по траве, на ходу отжимая мокрые волосы. И вдруг увидела волка. Серый стоял, подмяв лапой ее полосатую блузку, брошенную неподалеку возле разошедшегося прибрежного пня. Бесстрастное звериное выражение его морды как будто исчезло, став осмысленным. Желто-зеленые глаза расширились. В них читалось нечто пугающее и вместе с тем необъяснимо трогательное. Жекки не то, чтобы испугалась, обмерла скорее от неожиданности.

«Серый, — проронила она, — что ты? Пожалуйста, не смотри так». Волк, как будто поняв, переступил на месте и отнял лапу. Жекки страшно торопилась, просовывая в рукава еще влажные, непослушно цепляющиеся за ткань руки. Потом, вплотную приблизившись к зверю, она несколько раз осторожно погладила его по голове между ушами. Зверь принял этот ласкающий жест, и постояв с минуту, быстро ушел в чащу. Как ни звала его Жекки, в тот день он больше не появился.

После этого памятного свидания Серый куда-то пропал. Такое с ним случалось и прежде. Никогда нельзя было сказать наверняка, отправляясь на прогулку, встретятся они или нет. Бывало, он исчезал на месяцы. И тогда Жекки неподдельно скучала. Пожалуй, она даже не отдавала себе отчет в том, насколько сильно

привязана к нему. Да, и что тут такого особенного? Существуют же в благоустроенных европейских городах зоосады и зверинцы, где люди постоянно общаются с представителями животного мира. И никто не выражает удивления, когда видит циркового дрессировщика, окруженного дюжиной африканских львов. Наоборот, все эти не вполне нормальные способы заявить о мнимом превосходстве человека над остальными животными, вызывают всеобщее сочувствие. А волк... разве он заслуживает меньше права быть понятым, чем какой-нибудь лев или бенгальский тигр, тем более что волки в лесостепной России встречаются гораздо чаще?

И все же Жекки не считала нужным излишне распространяться о своих лесных похождениях. Друзья и родные вряд ли одобрили бы ее необычное знакомство. Для нее приятельство с Серым было насущной потребностью, а вот для окружающих, малейший намек на него мог стать пресловутой последней каплей.

Жекки и без того была в уезде на дурном счету. Местное население находило ее экстравагантной. Жекки досадовала на них, тем более что не понимала, чем собственно, вызвано столь откровенное предубеждение. Не понимала, что вопреки нежеланию выделяться на общем унылом фоне, она со своим всегдашним

стремлением поступать по-своему, точно бельмо на глазу заурядов. Тогда как на самом деле, она была всего лишь немного смелее и чуть-чуть безразличней к окружающему, чем все прочие. В конце концов, свыклись же местные чопорные интриганки с ее одинокими стремительными разъездами по полям и лесам. В черной амазонке или одетая по-мужски, верхом на золотисто-гнедом жеребце она проносилась, как вихрь, оставляя позади шлейф томительно-тонких духов, дымку пыли и завистливо-едкий шепоток. Привыкли и к тому, что в виду слабого здоровья супруга и его частых отъездов в город, Жекки сама занимается всеми хозяйственными делами: ведет счета, ездит по работам, нанимает людей, сама ищет покупателей для своего ячменя и ржи, торгуется с хозяином маслобойни, разбирается с векселями, долгами и процентами. Никому и в голову не приходило, что, начав заниматься всем этим по необходимости, она сделала весьма приятное открытие. Оказалось, самостоятельное ведение хозяйства не только помогает сводить концы с концами, но и доставляет своеобразное удовольствие, наполняя жизнь самыми увлекательными и разнообразными событиями.

Разумеется, замшелые деревенские дуры, прокисшие от беспросветного безделья, не могли и помыслить о каком-то другом счастье, кроме

выгодного замужества. В отличие от них, Жекки довольно рано поняла, что не сможет удовлетвориться ограниченным набором предписанных ей женских радостей. Притом, что модные слова «суфражистка», «эмансипатка», «декадентка» и прочие, постоянно звучавшие в ее адрес, были ей не совсем понятны. Сказывалась восьмилетняя каторга Нижеславской гимназии с ее бесконечной зубрежкой, скукой, мрачным невысыпаниями по утрам. Как следствие, позывы к интеллектуальным упражнениям истощились довольно рано. Жекки решила, что это не для нее. Тем более, перед глазами был безрадостный пример старшей сестры, обширная начитанность которой отнюдь не добавляла ей привлекательности в глазах местного общества. Жекки такое положение вещей не устраивало. Ей всегда хотелось слыть обыкновенной, считаться своей, быть, по меньшей мере, как все. Не ее вина, что это ей не совсем удавалось. Но как бы там ни было, соседи постепенно примирились с демонстративно недамской активностью молодой помещицы. Спорт и переговоры с подрядчиками — это куда ни шло.

Несколько сложнее обстояло дело с некоторыми другими ее отклонениями от обывательской нормы. Например, с умением обходиться без корсета и мясной пищи. С весьма условной набожностью на фоне самого трепетного

и участливого отношения к любым живым существам, включая и кое-кого из себе подобных. С энергичной увлеченностью всем прогрессивным и необычным. Так всего лишь около года назад чуть-ли не весь уезд всполошился из-за задуманного ею (но в конечном итоге не осуществленного) плана по покупке новейшего немецкого агрегата — электрической молотилки с генератором. Чего только не свалилось тогда на бедную голову Жекки: де, и подвержена глупым идеям, и хочет разорить всех вокруг, сбив цены на обмолоченный хлеб, и вообще собирается учить мужиков хозяйствовать на заграничный манер, а где это видано, чтобы русские работали как немцы?

Ну и, разумеется, почти открытую неприязнь уездных обывательниц вызывала непроходящая популярность Жекки у противоположного пола. Это болезненно бросалось в глаза все минувшее лето, пока в Инск из окрестного полевого лагеря то и дело наведывались офицеры, и на всех вечерах, где бы ни появлялась «мадам Аболешева», ей от них не было отбоя. Но если бы, не приведи бог, благочестивые инчанки узнали, что на самом деле думает Жекки об их мужьях или залетных офицерах, то полопались бы от возмущения. Чуть больше проницательности, и их глазам открылось бы неслыханное коварство, ибо все местные кавалеры были для Жекки на одно лицо:

добродушные пьяницы, пустоголовые служаки, забавные ничтожества. По счастью, никто из них не хотел докапываться до ее мыслей, а внешняя миловидность женщины, как не без оснований полагала Жекки, прочно заслонит в глазах мужчин любые изъяны характера. «Будь я дурнушкой, они бы давно сжили меня со света», — не раз думала она, выслушивая в очередной раз какой-нибудь неуклюжего дыхателя.

И уж совершенно невозможно было дамскому обществу примириться с ее бессердечной уверенностью в себе, с вызывающим безразличием к бесчисленным сплетням, распространяемым на ее счет, с ее всегдашней отдельностью ото всех и вся, с подчеркнутой независимостью, легко перетекавшей в прямую дерзость, как только у кого-то появлялось неосторожное желание в чем-либо ограничить ее. Наконец, раздражала вся ее так называемая, безусловно мнимая, привлекательность, столь откровенно построенная на противоречиях. По-детски округлое, молочно-розовое лицо, точно взятое с рождественской открытки, и явно чужие ему, светло-стальные глаза. Упрямая линия подбородка и как будто насмехающиеся над ней беззастенчиво нежные губы. Незащищенная, опять-таки слегка открыточная, лилейная тонкость шеи и постоянно воюющая с наемной армией заколок и шпилек,

упорно сопротивляющаяся диктату любых причесок, копна темно-русых волос.

Сама Жекки смотрела на себя немного иначе. Привыкнув находить в людях черты, сближающие их с какими-нибудь животными, она прекрасно сознавала, что внешне больше всего напоминает пышущую здоровьем, меланхоличную и своенравную буренку. Особенно выдавали это сходство глаза, большие и влажные, под трепетно вздрагивающими черными ресницами. В обыденности, не замутненной взрывами негодования или приступами своеволия, они смотрели на мир точно так, как смотрит, отрываясь от пережевывания травы, мирно пасущаяся на лужайке корова — томно и грустно. Но стоило чему-нибудь или, боже упаси — кому-нибудь, хотя бы слегка вывести ее из себя, и те же самые кроткие воловьи очи наливались угрожающим, сметающим все на своем пути, раскаленным металлом. Так что утвердившееся во мнении уездных «львиц» нелестное представление о Жекки, было не так уж далеко от истины: отбившаяся от стада бодливая коровенка, гуляющая сама по себе, да еще и сманивающая похода соседских быков.

II

«По крайней мере, Павлу Всеволодовичу

наплевать на все это», — подумала Жекки, когда Алкид перешел на более резвую рысь. Она ехала, не разбирая дороги, через лес, по земле, сплошь усыпанной яркими листьями, зная, что не заблудится. Серого не было видно за деревьями, но Жекки не сомневалась — он где-то поблизости. «И пусть. Вы, месье Аболешев, прекрасно знаете, что мне безразлично, что бы вы ни думали», — подбадривала она себя, отлично сознавая, что это неправда, поскольку все, что так или иначе касалось ее мужа, Павла Всеволодовича Аболешева, на самом деле вызывало у Жекки самые живые, а в последнее время все более горькие чувства.

Но сейчас нужно было хотя бы немного развеяться. Жекки отдыхала в лесу. Здесь сердце билось ровней, мысли успокаивались. Она сознавала лес как чудо — живой огромный мир, существующий отдельно, таинственно, бесконечно давно. Ей нравилось ощущать свою сопричастность этому миру, не хотелось его покидать, возвращаясь в свой человеческий. Здесь она начинала по-особому чувствовать. Ее способность воспринимать окружающее не обострялась, не ослабевала, но становилась другой. Невольно свыкаясь с зыбкой чередой лесных запахов, звуков, составляющих невидимое множество жизнью, Жекки как будто начинала смотреть вокруг глазами

существа, по воле случая вырванного из родной стихии, и теперь, столь же случайно водворенного в изначально предназначенную ему среду.

Остановив Алкида около огромной, уткнувшейся в небо столетней сосны, она прыгнула на землю и огляделась. Если обойти поляну и двинуться дальше через ельник вдоль темной ложбины, то можно выйти на старую просеку, прорубленную в прежние времена специально для удобства охотников. Просека выводила прямо к дому лесника Поликарпа Матвеича, которого Жекки решила сегодня навестить. Но для начала нужно было поздороваться с волком.

Теперь, когда Алкид остался на поляне, Серый, не спеша, подошел к ней. Присев на корточки, Жекки взгляделась в него. Какой же он большой и сильный. Пахнет чем-то знакомым и вместе — чужим, манящим и властным. Жекки протянула к нему руку, провела по жесткой шерсти волчьего загривка.

— Серенький, хороший, — сказала она, вслушиваясь в частое дыхание зверя, и ощутив, как через руку передается его тепло.

Волк покорно стоял, изображая готовность стерпеть от двуногой все, что ей заблагорассудится. Жекки притянула его к себе ближе и обняла за шею, как обняла бы любимую собаку. Она бы давно

завела себе собаку, сенбернара, например, или еще какого-нибудь лохматого, но Аболешев не выносил собак. Приходилось с этим считаться.

— Хочешь хлебушка? Твой любимый.

Жекки протянула припасенный ржаной ломоть, и пока волк разжевывал угощение, заметила, каким он стал беззащитным. Должно быть, как все животные, когда они пьют или едят. И ни волк, и никакой другой зверь не стал бы так рисковать в присутствии человека. А Серый ее не боялся. Желто-зеленые глаза светились с благодушным спокойствием. Жекки обрадовалась, когда волк уткнулся мордой в ее ладони, пахнущие хлебом, и неожиданно поняла, что он лижет их. У него был шершавый, но почему-то удивительно нежный язык.

— Вкусно? Ну, в другой раз привезу еще. А сейчас пойдем к Матвеичу. Мне нужно кое-что передать ему.

Жекки поднялась с корточек, ожидая, что волк, опередив ее, побежит в сторону просеки, но Серый не двинулся с места. Она посмотрела на него и увидела, что он смотрит на нее уже как-то иначе. Сейчас ей не хотелось бы встретить в его взгляде ту человеческую осмысленность, которая когда-то так поразила ее. Следовало что-то предпринять, но она видела именно тот таинственный, притягивающий взгляд, и не знала, что делать. Внезапно между

ними наступило какое-то затруднительное молчание, какое иногда возникает между двумя людьми, слишком хорошо знающими друг друга и боящимися произнести не те слова или прервать понимание, возможное между ними только без слов. Серый буквально не сводил с нее глаз. Жекки осязала его взгляд, как прикосновение чего-то горячего и живительного. Она не могла на что-то решиться, пока ощущала его, как не могла бы поверить, что волк, стоящий напротив, способен одним рывком разорвать ее пополам, будто мелкого детеныша косули и что не он, а она рядом с ним совершенно беспомощна. Даже на долю мгновения Жекки не усомнилась, что Серый ей ничуть не опасен. Просто, в конце концов, поняла — сегодня она должна уступить ему. Точно так же, как уступила несколько лет назад, когда впервые встретила с ним, и когда он попросту спас ее, испуганную маленькую девчонку, заблудившуюся в диком, страшном лесу.

Жекки до сих пор съеживалась, вспоминая, какой беспредельный ужас она испытала, когда поняла, что осталась совершенно одна в глухом незнакомом месте, отстав от компании деревенских ребят, с которыми отправилась в тот день за земляникой. Она увязалась с ними по своей прихоти и потому, что всегда предпочитала играть с простыми босоногими мальчишками. И те охотно

принимали ее в свои игры, тем более что маленькая барышня ни в чем не желала им уступить. И вот мальчишки ушли далеко в каюшинские дебри, и Жекки, засидевшись на богатом ягодном месте, потеряла их из виду. А когда попробовала найти дорогу, незаметно для себя начала уходить все дальше, и дальше в безлюдную глухомань.

Когда же, наконец, поняла, что заблудилась, вокруг непроницаемой стеной вздымались вековые сосны и ели. Огромные поваленные остовы упавших гигантов, покрытые мхом, лежали один на другом, и высокий, как скромный подлесок, папоротник скрывал ее почти с головой. Вокруг черная чаща, бурелом, ни души, ни звука, и никакой надежды услышать или увидеть кого-то сквозь надвинувшийся морок ужаса. Жестокий страх, внезапный как смерч, вывернул все ее существо наизнанку. Охваченная им, Жекки упала ничком в заросли папоротника и громко отчаянно разрыдалась. Ей совсем недавно исполнилось одиннадцать лет. Она играла в бабки с крестьянскими мальчишками, любила шоколадные конфеты и готовилась будущей зимой танцевать на своем первом гимназическом балу. И вот теперь должна была неминуемо умереть. Самая настоящая смерть смотрела на нее во все глаза, оскаливая бесчувственный черный зев.

Жекки рыдала, не в силах остановиться.

Несколько раз в бессильном отчаянье она обрушивалась с кулаками на ни в чем неповинный мох. Шли бесконечные минуты, часы. Она не могла опомниться. Уже приблизились сумерки. Свет, проходивший между мохнатыми стволами деревьев, наполнился розовыми тонами. И какая же зловещая пропасть разверзлась перед ней в этом свете! Каким багровым пламенем озарил ее наступивший вскоре закат! Неизменность окружающего, черная глубина раскрывшейся бездны, подавляли все мысли, все чувства. Все, кроме бьющего через край животного страха. Она попробовала идти, чтобы движением, усилием тела заглушить этот подавляющий страх, но он побеждал. Когда наступила ночь, она легла, сжавшись в жалкий комочек прямо на землю под разлапистой елью за кустами можжевельника, и приготовилась к тому, что, возможно, усталость все-таки одержит верх над страхом. Но, она почти не сомкнула глаз.

Только под самое утро, к ней, окончательно обессиленной, пришло милосердное забытие. Проснулась она уже за полдень, когда лес во всю дышал и жил своей неповторимой жизнью. Но, очнувшись, она испытала сразу возвратившийся ужас. У нее страшно разболелась голова, желудок сдавливала сосущая боль, на которую она, впрочем, не обратила внимания, настолько голод был

второстепенен по сравнению с ужасом, и только жажда еще кое-как отвлекала ее измученное сознание. Корзинку с земляникой она бросила в первые минуты страха, когда побежала сломя голову через чащу, надеясь догнать мальчишек, а ведь эти ягоды такгодились бы ей теперь. Жекки попробовала опять идти, сорвала несколько свежих стеблей какой-то травы и стала сосать их белые сочные предкоренья, но все равно хотелось пить. Палящий зной, скрытый за неподвижными кронами деревьев, все же проникал сквозь них, достигая самого края бездны, над которой билась ее маленькая погибающая жизнь. Жара была не изнуряющей, но достаточно сильной для человека, лишенного воды. Жекки брела куда-то наобум. Кругом была все та же мрачная глушь без единого просветления. Страх уже не гнал ее, но прижимал к земле, заставляя падать лицом в мох и плакать. Опять шли бесконечные минуты отчаянья. Ее рыдания становились беззвучными и все чаще прерывались глухим безнадежным сознанием тупика. Потом гремучей клокочущей волной накатывался первозданный Великий Страх, и она снова задыхалась от неудержимого горя. Так продолжалось какое-то время, пока за ее спиной не послышалось чье-то дыхание.

Это было именно дыхание. В вязкой глухой тишине девственной чащи каждый звук отливался,

словно из бронзы, и гремел, как колокол над снежной равниной. А может быть, так громко стучало ее сердце, что все иные звуки спешили его перекричать, дабы быть услышанными? Ясно было только, что кто-то дышал рядом. Жекки открыла глаза и увидела склонившуюся над ней мохнатую голову. Как ни странно, она не испугалась. Обнюхав ее, зверь встал рядом и стоял так долго, пока она не поднялась на ноги. Жекки видела перед собой огромного, но, судя по всему, еще молодого поджарого волка, который почему-то не нападал на нее, но и не уходил прочь.

Она была поражена, изумлена, околдована и к тому же, раздавлена своим великим ужасом. Тогда-то она впервые увидела его настоящий, волчий, источающий бесстрашие, взгляд. А волк впервые позволил ей дотронуться до своей жесткой шерсти. Едва она сделала несколько шагов, как волк преградил ей дорогу. Она попробовала двинуться в противоположную сторону — волк сделал то же самое. Тогда в возникшем между ними молчаливом угадывании друг друга, она поняла, что он какой-то особенный. Непривычное ощущение другого пробудилось одновременно с надеждой спастись. И эту надежду источало замершее вблизи светлое и грозное существо. Зверь всем своим видом будто подготавливал Жекки, будто давал время настроиться на новый

спасительный лад. И когда спустя какое-то время он решительно направился в просвет между ближайшими елями, она, не раздумывая, последовала за ним.

Он вел маленькую двуногую одному ему ведомой дорогой. Жекки то бежала, то шла, изредка останавливаясь. Как только она переставала видеть мелькавшую впереди светлую спину проводника, он тотчас находился, и они продолжали путь. Сколько времени это длилось, Жекки не могла бы сказать с уверенностью. Она очнулась, только когда увидела открывшиеся из-за деревьев очертания знакомого выгона, мимо которого шла старая, размытая дождями, дорога. Не помнила она и того, куда исчез ее спаситель. Память сохранила лишь мамины всхлипы, радостные причитанья прислуги, слезы сестры Ляли, закипевший на веранде самовар, укутавшее ее с головы до ног фланелевое одеяло... Почему она сразу никому не рассказала про волка? Возможно, потому что все вокруг тогда представлялось слишком ненастоящим. Все вдруг стало каким-то другим, и она сама не могла бы с уверенностью сказать, что было с ней на самом деле, а что отзывалось лишь смутным повторением пережитого страха. Ну а потом...

Потом с наступлением темноты к ней стали подкрадываться «кружения» — «сны», как называла их Жекки, хотя их подлинный ужас состоял как раз в том, что снами в обычном смысле они не были. Чем они были, Жекки не знала, и никто другой не мог бы ей этого объяснить. Сначала ей казалось, будто их порождает ночная тьма. Будто слой за слоем густой мрак опутывает ее, вползая из-за опущенной занавески, и от этой беспросветной пелены ей становится так же страшно, как было в лесу, когда она заблудилась. Только к прежнему страху примешивалось еще что-то особенное, необъяснимое, ввергавшее в такой непереносимый ужас, что Жекки не могла откликнуться на него даже обычным плачем. Она просто сжималась в комок, охватывала голову руками, до боли стискивала глаза и так, слово бы пытаясь заслониться от чего-то безжалостного и неотступного, молча лежала, пока ее не находил кто-нибудь из домашних. На все расспросы и беспокойные замечания Жекки отвечала одно и то же: «мне страшно» и «я — это не я». Ничего более вразумительного от нее нельзя было добиться. Днем «кружения» не повторялись, зато сильно болела голова. Жекки ходила из угла в угол, не находя себе места. Она не могла ни сидеть, ни лежать, ни вообще что-либо делать. И, впадая в забытие, и выходя из него, хотела только одного —

пить. Пить жадно, много, сколько угодно, лишь бы избавиться от обуревавшей ее нестерпимой, нечеловеческой жажды.

Темнота стала ей ненавистна. В ее детской теперь с вечера до утра горела лампа, но это не спасало от наваждений. И постепенно, как сквозь все время обуревавшую ее дрему, Жекки начала прозревать — страшна не ночь сама по себе, и даже не порожденная ею тьма. Ужас рождала не темнота, а гулкая отзывчивая беспредельность, неразрывная с наступлением ночного покоя, и эта беспредельность дышала не в темной дали, укрытой за черными окнами, а внутри, в самой Жекки. Просто ночью беспредельность начинала звучать, и Жекки не могла унять ее голос — гулкий напор неизвестности. Стоило немного поддаться ему, как он немедленно подхватывал и уносил в необъятную, непереносимую тьму, вбирая ее в себя, точно крохотную песчинку, захваченную крутящимся черным вихрем-воронкой. Наступало кружение в бескрайности безысходного лабиринта, и тогда накатывал ужас, заглушая все вокруг, искажая пространство и время, выворачивая наизнанку крохотное, съезжившееся в комок естество.

По ночам Жекки перестала спать, днем ее мучили головные боли. Она не знала, куда себя деть от изнеможения. Так продолжалось около двух

недель, пока родители, наконец, не решились показать Жекки знаменитому московскому педиатру. В Москву отправились незамедлительно и прожили там около года: и в самом деле хороший детский доктор, осмотрев маленькой пациентку, назначил ей длительный курс лечения.

Для восемнадцатилетней Ляли тот год обернулся тоже весьма знаменательной переменой. Времени оказалось вполне довольно, чтобы как-то вдруг невзначай познакомиться со студентом медицинского факультета Коробейниковым. Стремительно влюбиться в него. Спонтанно и безалаберно увлечься его не совсем безобидными политическими идеями. Незамедлительно вступить в некий студенческий кружок, где можно было чуть ли не ежедневно встречать своего избранника. И, в конце концов, возбуждив в нем ответное, пожалуй, еще более безрассудное чувство, без промедления выйти замуж, уже постфактум — в духе новейших учений о женской свободе, оповестив о венчании родителей.

Отец с матерью были настолько обескуражены ее замужеством, что даже спустя много лет все еще никак не могли с ним примириться. Брак одной из Ельчаниновых с «кухаркиным сыном» стал для них настоящим потрясением. Жекки помнила, как отец, растерянный и серьезный, сказал тогда, утешая

маму, а возможно, и самого себя: «Что поделывать, по всей видимости, в наши дни такие союзы неизбежны, как повальное увлечение марксизмом. Будем надеяться, что Коля (имелся в виду новоиспеченный муж Ляли), по крайней мере, не из тех шалопаев, за которыми гоняется охранка».

Увы, и эти скромные надежды не оправдались.

Неизвестно, что помогло Жекки: курс знаменитого врача, самоотверженная забота родных, течение времени, или все это вместе взятое, но страшные наваждения как-то незаметно притупились, стали затухать. Ельчаниновы вернулись в губернский Нижеславль, где Жекки училась в гимназии, и туда же меньше чем через год вынужденно переехали молодые супруги Коробейниковы: доктор Николай Степанович был выслан под гласный надзор полиции с запрещением проживания в обеих столицах. Вскоре он получил место в инской городской больнице и богатый, не по-уездному шумно и широко живущий Инск, на долгие годы сделался единственным пристанищем для его полуссыльного, со временем заметно умножившегося семейства.

Между тем, страх Жекки не мог исчезнуть, будто по мановению волшебной палочки. Темные наваждения продолжали существовать где-то в потемках ее души, время от времени возвращаясь

оттуда, наваливаясь всей тяжестью пережитых мук. Несколько последующих лет, которые обычно называют самыми счастливыми, Жекки жила как приговоренная. Чувства уверенности, спокойствия, прочности и прелести бытия покинули ее безвозвратно. Каждая ночь, пока она жила в городе, могла принести повторение ужаса, и только на каникулах, летом, в имении отца Никольском, она обретала подобие прежнего детского счастья.

Как ни странно, кружащаяся безбрежная тьма никогда не тревожила ее в деревне, не смотря на то, что вся тамошняя обстановка должна была бы живо напоминать об испытанном кошмаре. Но именно тогда, в летние беззаботные месяцы Жекки начала любить свою землю, свой лес, свои поля, как будто из них черпая столь желанное душевное равновесие. И именно тогда она вновь повстречала спасшего ее волка — Серого, как она стала его называть.

Теперь они часто находили друг друга, стоило Жекки выбраться в лес на прогулку. Ее родные, заметив, как благотворно для девочки пребывание на лоне природы, не только не противились ее лесным блужданиям, но всячески их поощряли, подыскав ей для вящего спокойствия в провожатые местного лесника Поликарпа.

Поликарп Матвеич когда-то служил под началом Жеккиного отца в армейской артиллерии,

слыл человеком бывалым, знающим Каюшинский лес, что свой огород. С ним Жекки отвыкла бояться лесных дебрей, научилась различать голоса птиц, звериные следы, отыскивать лесные тропы и безошибочно находить дорогу домой из любой чащи. Почти тому же она подспудно училась у Серого, о чем Поликарп Матвеевич был прекрасно осведомлен. Он тоже давно знал Серого, правда, его знание было каким-то иным, чем у Жекки. Она это чувствовала по томительной настороженности и какому-то непередаваемому напряжению в движениях и словах лесника, когда речь заходила о волке. Тут было что-то непонятное, что-то не имевшее для Жекки решения, и она, в общем-то, не особенно стремилась его найти. Самым важным для нее было не дрожать от наступления сумерек и чувствовать неизменную прочность мироздания, ограничившуюся почему-то лишь небольшим отрезком земли в несколько сот квадратных десятин вокруг Никольского. На остальные земные пространства правильные законы мироздания, видимо, не распространялись.

Когда лето заканчивалось, и нужно было переезжать в Нижеславль, чувство, неверности, призрачности окружающего возвращалось. Жекки знала, что черная бездна рядом, что она стережет где-то у самой кромки души, готовая в любую минуту завладеть ее сознанием. И тьма

пробуждалась еще не однажды, превращая веселую пылкую, немного взбалмошную Жекки в жалкий комок страдающей плоти. Правда, новые приступы были не так мучительны, как те, что изводили ее в первое время после «спасения», и все же они не давали ей ничего забыть, не давали избыть тягучую душевную пытку, ей, столь радостно когда-то мечтавшей о счастье.

Но счастье все же нашло ее как-то вдруг, ненароком. Было ли оно собственно тем самым, предвкушаемым, предназначенным ей или каким-то другим, Жекки точно не знала. Знала только, что первой же зимой после окончания гимназии, на первом, по-настоящему взрослом своем балу в Благородном собрании, она встретила некоего приезжего и влюбилась в него сразу, без памяти. Это был Аболешев.

В Нижеславле, как выяснилось, он оказался проездом из Петербурга и сразу, без приглашения, заявился на губернаторский пышный прием, благо его превосходительство, приходился ему какой-то не слишком дальней родней. Подчеркнутая сдержанность, немногословность, нездешность Аболешева поразили Жекки в самое сердце. Он мгновенно приковывал к себе взгляды. Его чужеродность окружающему была безотчетна и вместе разительна. Незаурядная наружность: стройный брюнет, чуть выше среднего роста с

гордой осанкой и непринужденно-мягкими манерами, изобличавшими отменную джентльменскую выучку — и особенно, тонкого бледного лица, лишь изредка оживлявшегося прохладным блеском внимательных глаз, имела в себе нечто болезненное, недосказанное.

Жекки хватило одного взгляда, чтобы по достоинству оценить столь редкое своеобразие, незамедлительно приняв в себя, как не с чем не сравнимую данность. А вот нижеславское общество, особенно дамы, далеко не сразу одобрили заезжего гордеца. Аболешев избегал знакомств, держался спокойно и вызывающе. А когда пелена спала, было уже поздно: он танцевал два раза подряд с Жекки, после чего тотчас уехал. В зале шептались и переглядывались. Через неделю всем стало известно, что «господин Аболешев сделал мадмуазель Ельчаниновой предложение руки и сердца».

Отец Жекки, человек старомодный, был доволен выбором дочери хотя бы потому, что фамилия предполагаемого зятя значилась в шестой части гербовника дворянских родов губернии и была столь почтенной и древней, что могла этими качествами компенсировать сразу два существенных изъяна — зыбкую тень от мезальянса старшей дочери и полнейшую материальную несостоятельность жениха. Жекки,

разумеется, была далека от таких умонастроений. Павел Всеволодович занял ее сердце полнее, чем кто-либо до сих пор. Его склонность проявила себя, как и положено, прежде ее собственного признания. И все это, само собой, к всеобщему удовольствию, не могло иметь других последствий, кроме свадьбы. Они обвенчались, и после года совместных заграничных путешествий, вернулась в родной край, к своим заповедным местам.

Новая жизнь в милом ее сердцу Никольском, жизнь, наполненная бесконечными заботами и не совсем ровные отношения с красавцем-супругом, наконец, избавили Жекки от давней напасти. Старые кошмары перестали донимать ее. Она почувствовала себя вновь уверенной и здоровой, каковой, впрочем, в глубине души считала себя всегда, вопреки тяжелым проявлениям пережитого ею несчастья. Что же до новых тревог, вызванных переменой в ее семейном и общественном положении, то они касались той стороны жизни, в которой было, как ей думалось, все поправимо, в отличие от многого такого, над чем человек совершенно не властен. Во всяком случае, до сих пор, все годы замужества, сколь бы ни удручали ее почти постоянные размолвки с Павлом Всеволодовичем, Жекки жила с чувством обретенной твердой почвы под ногами. Черное наваждение наконец-то само стало призраком.

— Ты не хочешь, — обратилась она к Серому, задорно поглядывая в устремленные на нее, горящие странным огнем, глаза. — Не хочешь уходить? Что ж, давай побудем здесь еще немного. Поликарп Матвеич добрый. Он извинит, если я слегка опоздаю.

Помогая себе ногами, Жекки сгребла густую охапку опавшей листвы и повалилась в нее, успев, как бы играя, бросить в сторону волка быстро рассыпавшийся лиственный ворох. Серый тотчас подбежал к ней, показывая, что тоже не прочь поиграть. И Жекки, смеясь, начала засыпать его шуршащими сухими листьями, а Серый то подставлял под них морду, то отпрыгивал в сторону, притворяясь напуганным. Красные, желтые, багровые листья в голубом воздухе, как будто в медленном танце плыли над ними, покачиваясь и опадая. Жекки следила за ними глазами, точно воображала, будто кружится в неведомом вальсе. Потом, устав, она распласталась на разноцветной перине. Серый улегся рядом. Жекки положила руку ему на загривок. И все было хорошо, даже слишком хорошо, как казалось. Но почему-то, глядя прямо в опрокинутую над ней лазурь, она выдохнула, сама того не желая: «Знаешь, Серенький, а ведь счастливее чем сейчас, я уже никогда не буду».

Ее рука, прижатая к волчьему загривку,

почувствовала резкий отталкивающий рывок. Серый мгновенно приподнялся так, чтобы увидеть лицо двуногой, словно он не только понял, что она сказала, но и приготовился немедленно возразить ей. Жекки этому не удивилась. Серый понимал ее как никто на свете. Теперь она это точно знала, как и то, что его понимание, его молчаливое присутствие будет необходимо ей, пока она жива. Жекки провела рукой по его большой голове, почесав немного за ухом. Пригладила шерсть, сбившуюся по бокам, и, обняв еще раз за шею, поцеловала во влажный нос. Затем нашла брошенный неподалеку хлыстик, отряхнулась и, забывшись на долю секунды, чересчур непреклонно позвала Серого за собой. Все же нужно было поторопиться к Матвеичу. Старый лесник не очень-то любил засиживаться дома, и Жекки боялась его не застать.

Однако, волк медлил. Жекки мысленно одернула себя. Прямые просьбы и тем более — приказы, никогда не действовали на Серого. За все десять с лишним лет их знакомства он так и не стал ручным. Бесполезно было понуждать его или намеренно обучать каким-нибудь трюкам. Серый был слишком умен, чтобы в угоду человеческим прихотям совершать какие-то бессмысленные комбинации движений, не представлявших по большому счету для него ни интереса, ни, тем более

— мыслительной сложности. Он всегда сам решал, что и как ему делать. И Жекки понимала: любить этого волка она может только потому, что он такой — своенравный, чужой, свободный.

IV

— А, отступница, явилась, — с напускной ворчливостью поприветствовал ее Поликарп Матвеич, в то время, как Жекки на великолепном золотисто-гнедом жеребце въезжала во двор его лесной усадьбы. Дом, выстроенный много лет назад из огромных сосновых бревен, с высоким коньком тесовой крыши и широким двухступенчатым крыльцом под таким же навесом, обнесенный с четырех сторон забором из связанных крепких жердей, выглядел как добротное жилище какого-нибудь богатого крестьянина, живущего большой семьей на отдаленном отрубе.

Опытным глазом приметив Серого, оставшегося за воротами, Матвеич добавил, сразу посерьезнев:

— И зверя своего привела. Добро же. Ну, здравствуй.

Жекки тоже еще по дороге заметила волка, все-таки решившего проводить ее и, довольная этим, добралась до Поликарпа в самом приятном расположении духа.

— Здравствуйте, Поликарп Матвейч, — поздоровалась она в свою очередь. — И сколько вам повторять, что никакая я не отступница, никогда ею не была и не буду.

— Отступница, отступница. Ну, проходи в дом.

Всегда он насмешничает, а сам, пожалуй, все глаза проглядел, дожидаясь пока она соизволит явиться. Отступница... Смешно об этом вспоминать, но когда-то давным-давно, Жекки с детской простотой призналась своему наставнику, что хочет, как и Матвейч, жить в лесу и выйдет замуж непременно за такого же, как он лесовика. Матвейч, конечно, смеялся. Но реальное замужество воспитанницы принял с прохладцей. Выбора ее не одобрил и полушутя-полусерьезно стал упрекать в отступничестве от ею же данного обещания. Кое-какой резон в этих упреках все же имелся, потому как столичный сноб Аболешев, разумеется, нисколько не походил на «лесовика».

Жекки выпрыгнула из седла, передав поводья Матвейчу. Тот неторопливо, как и все, что он делал, привязал их каким-то замысловатым узлом к одной из жердин забора. Тем временем Жекки уже взбежала, стуча каблучками, по тяжелым ступенькам крыльца Поликарп Матвейч вошел следом за ней.

В доме было сумрачно и прохладно. От

порога до большой русской печи, выбеленной известкой, тянулось несколько расшитых разноцветьем половиц. Над печкой довольно высоко под самым потолком темнели пучки сухих трав. Матвеич был в своем роде знахарем. Ведал полезные и губительные свойства растений. Готовил целебные настои. Пользовал и себя — у него с годами стало ломить поясницу и сводить суставы — и всех, кому приходила охота попросить его о помощи. Желающие находились, хотя обращались к нему с опаской. В сознании мужиков, он, как ни крути, был почти что колдун. Боялись и его таинственного искусства, и осуждения отца Василия из Никольской церкви, да и ученый «дохтур» с «фельшером» из земской больницы всячески порицали горе-смельчаков, что шли со своими недугами не к ним, а в лесную усадьбу.

Сушеные травы распространяли по дому горьковато-пряный аромат, с детства знакомый Жекки. Вдохнув снова этот дурманящий травяной дух, она услышала, как всплыли в памяти, поднявшись, словно из глубокого колодца, как будто в сказочной дреме звучавшие когда-то, долгие и казавшиеся тоже какими-то сказочными рассказы. Далекие, как сон, голоса: «Ну, расскажи, Матвеич, миленький. Ну что это за травка? — Это-то? Душица. Вишь, кое-где розовые цветики остались. Хороша от мигреней и при простуде. — А

эта? — Это, сударушка ты моя, полынь-трава. Горше ее не придумать. Лечит желудок, а ежели, например, компресс из нее, так — раны или ушибы. Вот, как у тебя на коленке. — Ну а эта, эта, что за трава такая, Матвеич? Неужели и она горькая? — Эта? И еще какая горькая. Рьяная. Не дай тебе Бог, ласточка моя, когда-нибудь попросить ее для себя. Называется она горицвет, а излечивает сердце...»

В красном углу, как положено, перед образом Спаса, потемневшем от неправдоподобной древности, светилась крохотная лампадка. Взглянув на нее, Жекки из приличия перекрестилась. Знала, что из всех ее недостатков, известных Матвеичу, отсутствие необходимой почтительности к божеству, он извинял менее чем охотно. Напротив двух небольших окон с ситцевыми занавесками, почти посреди комнаты, вздымался крепкий, как дом, как вообще все, что было в этом доме, дубовый стол с нехитрым, но сытным угощением.

На краю лавки, приставленной к окну, Жекки заметила смиренно расположившегося кота, чрезвычайно толстого, похожего на енота. Кот был донельзя ленив, флегматичен и любим Матвеичем. Жекки с трудом удержалась, чтоб тотчас не растормошить его. Но вовремя удержалась. Во-первых, кот, которому Матвеич, кажется, не удосужился дать никакого имени (для него кот был просто Котом, и Жекки воспринимала это, как

высшее признание животного, воплотившего в себе лучшие свойства кошачьих), не любил, когда его не с того, не с сего начинали теревить и тискать. Он редко кому позволял с собой такие вольности. А во-вторых, Жекки вспомнила про предстоящий обстоятельный разговор и решила пока не отвлекаться на сентиментальные позывы. Опять-таки, Матвеич, как ни любил он своего Кота, в душе бы их не одобрил.

— Ну, что же, Евгения Павловна, вы застеснялись, — сказал он, переходя на мнимо церемонный тон, — прошу вас к столу. Откушайте моей стряпни, не побрезгуйте.

Жекки и не подумала бы брезговать стряпней Матвеича, тем более, что он умел изумительно вкусно готовить зеленые щи, окрошку, каши. Умел мариновать по-особенному огурцы, солить грибы, коптить рыбу и жаривать дичь. Дичь, впрочем, Жекки не ела и не могла составить мнение об ее качествах. Но стоило вспомнить, на худой конец, знаменитую на весь околоток поликарповку, чтобы понять, как намеренно принижал старый хитрец свои кулинарные способности.

— Спасибо, Матвеич. Чувствую, что, как всегда, объемся твоими блинами.

Матвеич, явно польщенный, усмехнулся в бороду, усаживаясь напротив гостя. На сей раз угощение состояло из свежей ухи, всевозможной

закусок и гречишных блинов, жаренных с грибами и луком. Бутыль с поликарповкой старик выставил позднее. Выпить за здоровье хозяина было просто необходимо, и Жекки в промежутках между кушаньями не преминула опорожнить маленький стальной стаканчик, заботливо подставленный ей под правую руку.

— Что же вы не заехали к нам на прошлой неделе, Поликарп Матвеич? — спросила Жекки, цепляя вилкой ломтик малосоляного огурца. — Я ждала вас. Думала, что-то случилось. Хотела даже Федыкина прислать, разведать все ли у вас благополучно, а потом недолго думая, решила, что лучше уж самой приехать.

— Вот и ладно, давно бы так. С тобой, сударыня я всегда рад лишним словом перемолвиться. А Федыкин ваш, прости господи, на что мне? И впредь прошу, приезжай сударушка, непременно сама, а никаких твоих гонцов мне не надобно.

— Что же у вас, Поликарп Матвеич, какие-то дела были в лесничестве?

— Как не быть. Были и дела. Потом вот на ярмарку третьего дня пришлось съездить. Ведь нынче ярмарка большая под городом.

— Как же, я и сама собиралась, да без денег на ярмарке делать нечего. Разве что прицениться.

— И то, можно и прицениться. Хлебушек-то,

к примеру, нынче — что твое золото, а может и подороже.

— Дороже или нет, а у меня уже почти не осталось, ни того, ни другого. Вот в чем беда, Матвейч.

Жекки знала, что не сообщает ничего нового. Матвейч не хуже нее представлял состояние дел Аболешевых. Знал, что летом выгорели все весенние посевы, а озимые рожь и ячмень дали такой скудный урожай, какого в Никольском не видывали лет пятнадцать. У соседей дела обстояли не лучше. Обиднее всего, что засуха обрушилась на них, когда, казалось бы, положение в сельских хозяйствах по всей губернии начало налаживаться. После двух голодных лет, которые пришлось на конец прошлого века, неурожаи в их краях стали редки. Хозяйства исправных крестьян и заботливых помещиков начали подниматься. Хлебная торговля сделалась чрезвычайно выгодна, и если не приносила большого дохода, то и не оставляла с убытком. А были еще лен и масло, которые Жекки сбывала местным закупщикам, и которые приносили дополнительные рубли в ее тщательно просчитанный бюджет. Но в этом году лен, предназначавшийся для продажи на волокно, из-за засухи не вытянулся, поник и пошел боковыми ветками, так что его можно было пустить только на семена, а это сотни рублей неполученного дохода.

Удои молока из-за плохого корма коров — покосы и выгоны горели наравне со всей прочей растительностью — так же уменьшились одновременно с надеждами получить какую-либо прибыль от молочной торговли. Больше того, из-за ничтожных по сравнению с прошлыми годами запасов сена и соломы, приходилось задумываться о забое какой-то части коровьего стада. Жекки пока, как могла, тянула с роковым решением на счет жизни и смерти своих буренок, а вот соседи и, особенно мужики, почти во всех окрестных деревнях уже всю принялись истреблять крупную скотину.

Засуха и ее последствия стали повсеместно главной темой для разговоров. На городском базаре, в заседаниях земства, в клубе, на улице, в лавках и даже гостиных инских патрициев — везде говорили о печальном положении дел в уезде. О бедствиях, вызванных нескончаемым зноем, изо дня в день сообщала и самая популярная местная газета «Инский листок», издававшаяся за счет частных пожертвований двух либерально мыслящих купцов.

«ИНСКИЙ ЛИСТОК»

Засуха.

12/ IX. В Новоспасской волости

крестьяне деревни Боровки на сходе постановили обратиться за кормовым вспомоществованием в земскую управу. Положение крестьян в действительности отчаянное: зимних кормов для скотины заготовлено едва ли треть от необходимого. Большая часть поголовья крупного скота уже пущена под нож. Зимой ожидается падеж из-за недокорма. Что до положения с хлебом, то оно, как и всюду по уезду, близко к критическому.

14/ IX. Между крестьянами деревень Варюшино и Дятлово (Дмитровская волость) возобновился спор о принадлежности так называемого Дальнего луга. Местоположение в речной низменности способствовало тому, что трава на лугу пострадала от засухи гораздо меньше против других сенокосных угодий. Это и дало толчок к началу старых препирательств. Урожай нынешнего года достался дятловцам. Крестьяне Варюшина потребовали вернуть им все сено, скошенное на Дальнем лугу или заплатить за него выкуп. Получив отказ, они вынудили дятловских крестьян на кровопролитную драку.

Уряднику Матвееву, прибывшему на место драки, остановить побоище не удалось. С множественными ушибами головы и переломами двух ребер он был доставлен в Дмитровскую волостную больницу. Среди крестьян один был убит, десятки ранены. Судебный следователь и полицейская команда во главе с приставом уже выясняют обстоятельства происшествия. Трое зачинщиков арестованы.

17/ IX. Статистическое отделение уездной управы подготовило сведения о вздорожании цен на съестные припасы, вызванное последствиями неурожая этого и предыдущего года. Из указанных данных видно, что удорожание в уезде коснулось практически всех видов продовольствия. Ниже приводим некоторые наиболее заметные результаты. В первой колонке указаны цены 1911 г., предшествовавшего засухе. Во второй — цены нынешнего года.

Пуд ржаной муки 1 руб. 90 коп. 2 руб. 35 коп.

Телятина (за фунт) 26 коп. 41 коп.

Молоко (за ведро) 1 руб. 23 коп. 2 руб.

04 коп.

Масло сливочное 49 коп. 73 коп.

Картофель (мера) 28 коп. 40 коп.

Овес 74 коп. 86 коп.

Сено 34 коп. 54 коп.

— Я свой хлеб уже почти весь продала, — сказала Жекки. — Теперь жалею, конечно, потому что он должен будет час от часу дорожать. Да, мне деньги нужны прямо теперь.

— Что ж, коли так, — поддержал Поликарп, — делать нечего. Стало быть, крепко вас, сударыня моя, прихватило. У вас же одних векселей непогашенных тыщ на пять, а то и поболее.

Жекки нахмурилась. Непогашенные векселя висели на ее плечах тяжелой обузой. Всего два года назад ценой невероятных ухищрений, стараний, каждодневного кропотливого труда в имении ей удалось собрать деньги для выкупа у банка закладной на Никольское. Однако спустя год, неурожай и случившийся тогда же крупный падеж скота, сокративший наполовину ее молочное стадо, заставили ее вновь заложить всю пахотную землю с прилегающими лесными участками. Так что теперь, крупные долги по векселям и необходимость расплачиваться по банковскому займу представляли для нее не меньшую, чем когда-то, а напротив — еще более грозную опасность.

— Пять с половиной, — сказала Жекки, называя правильную сумму своего вексельного долга. — И, похоже, в этом году лучшее, что я смогу — это выплатить по ним проценты. — Она вздохнула. Вот именно, что в лучшем случае. Потому что кроме платежей по долгам необходимо было заплатить полторы тысячи в страховую контору, отремонтировать окончательно сгнившую крышу амбара, заменить конную молотилку, купить хотя бы пару новых плугов и одну сеялку, чтобы было с чем выйти в поле следующей весной. Наконец, нужно было рассчитаться сполна с работниками, надо было чем-то питаться, содержать себя с мужем и... о, как же хотелось... но сейчас это желание показалось ей почти несбыточным. Как же хотелось сшить себе новое вечернее платье, в котором она смогла бы показаться на именинном балу у инского предводителя. То самое, высмотренное в «Дамском журнале», то, о котором она мечтала, за которое, пожалуй, отказалась бы и от плугов, и от чертовой молотилки, но... Похоже, в этом году ей вряд ли посчастливится выбросить на ветер даже одну сотню рублей. Огромный долг Земельному банку маячил перед ней, как удушливое знойное марево, висевшее над полями все минувшее лето. Жекки ловила себя на ощущении, что не может забыть об этом долге даже во сне.

— И еще пять нужно внести в банк, — прибавила она, стараясь не выдать волнения.

— Фью-ю, — присвистнул Матвейч. — Вместе выходит — поболее десяти. По нынешним временам деньжищи несметные.

— Ну, как тут быть, Поликарп Матвейч? — будто бы соглашаясь с ним и одновременно точно пытаясь воспротивиться чему-то, сказала Жекки, — Я кажется, на долги не напрашивалась. Что могла — отдавала сразу, и все равно... ничего не выходит. Вырученное за хлеб уже почти все разошлось. Да, и что там было-то. По сравнению с прошлыми годами — копейки. А самые большие долги остались непогашенными. Весь лен уйдет в счет аванса и процентов Ханыкову. За масло кое-что получу, но так мало, что и считать не стоит. В общем, нет у меня больше денег, Матвейч. Кончились, и что делать — не знаю.

— Беда, сударушка ты моя, беда. Давно вижу — не по тебе эта ноша, не для твоих плечей. Да и не для женского разумения. А Пал-то Вселодыч ваш, как погляжу, и в ус не дует. Ему все, как с гуся вода. То в разъездах, то на фортепьянах бренчит.

«Ну, вот начинается», — с тоской подумала Жекки.

Ей совершенно не хотелось ни с кем, даже с добряком Матвейчем, обсуждать поведение Павла Всеволодовича. Ей и без того надоели соседские

сплетни на счет полной хозяйственной несостоятельности Аболешева. Еще не хватало выслушивать что-то похожее от самого близкого друга. Какими бы справедливыми ни были упреки Поликарпа Матвеича, Жекки не могла поддерживать беседу на эту тему, и отважно проглотив содержимое стального стаканчика, произнесла со всем возможным спокойствием:

— Да, он любит музыку, играет иногда. Мне даже нравится. Если хотите, музыка — его душевный магнит. Как кто-то сказал — то, на чем сосредоточена душа. И, знаете, по-моему, лучше, когда такой магнит есть, чем, когда его нет. Ведь, если вдуматься, им жизнь тянет нас за собой, влечет и держит. Нет притяжения — нет жизни. И хорошо, что такой магнит есть у Аболешева, у меня. И у вас тоже, Матвеич. У каждого свой, конечно. Вот вы любите лес. Вы не скажете, но я-то знаю, что вы без него жить не можете. Знаете его как никто и, наверное, с закрытыми глазами пройдете вдоль и поперек. Разве нет?

Матвеич, только что осушивший посудинку с настойкой, усмехнулся, огладил усы.

— А может, и пройду, да только баловство это. Не к чему. — Он опять усмехнулся, словно представив возможность подобного эксперимента. — Каюшинский лес, да и любой, как живая тварь, его понимать надо. Тогда он сам тебе

откроется. Его и проверять и мерить на десятины не придется. Вымерено все уже, нового-то не приросло. А что знаю я его, так тут спору нет. И вы, сударыня моя, знаете, и для вас Каюшинский край не чужой. Ведь знаете, как через большую дубраву на берег Калинкина ручья выйти? Знаете. Как дальние болота обойти? Опять вам известно. И как коростель кричит, и как тетерев на току квохчет, и как по рыхлой земле на кабана выйти. Да и чего, скажите, вам здесь не ведомо?

Жекки задумалась. В самом деле, кажется на сегодняшний день, она знает примерно то же, что и ее многомудрый учитель. А с другой стороны, она понимала, что подлинные знания даются лишь с опытом, зарабатываются собственными шишками. У Поликарпа Матвеича и опыта, и набитых им за долгую жизнь шишек, наберется побольше.

V

— А что, есть ли еще кто-нибудь у нас в уезде, кого бы вы, Поликарп Матвеич, в местные следопыты записали? Мне просто так любопытно. Земляки, соседи все-таки.

Жекки хитрила. На самом деле ей было все равно, есть ли подобные следопыты или нет. Точнее, она считала, что среди ее «милых соседей» таких людей быть не может. Просто сейчас ей

очень хотелось перевести разговор с опасной темы «Аболешев» на любую другую. Пусть даже Матвейчу вздумалось бы размышлять вслух о силе земного тяготения. Ее устроило бы все что угодно, кроме разговоров о муже. Еще задумав свою военную хитрость, она предполагала, что предстоит непростая борьба с использованием всевозможных уловок и приятно удивилась, обнаружив, что Матвейч заглотив наживку с первой попытки.

— В уезде-то все так, одна шушера козьячняя водится. Уж ты меня, ласточка, прости, коли сорвалось что лишнее с языка. Стар стал, невоздержан. В губернии, в Мшинском уезде, там был стоящий егерь, старый уже, Афанасий Савватеич, да сказывают, помер в запрошлом годе. А из молодых... Молодо зелено, может еще из кого толк будет. Так что кроме нас с тобою лучше пока никого нету. Хвастайся, коли хочешь. На-ко вот отведай. — Матвейч бережно скрутил несколько маслянистых блинов, лежавших сверху на блюде, и переложил их на тарелку Жекки.

— Был, правда, еще один человек, — сказал он, помедлив, вытирая рушником замасленные пальцы, и по его лицу пробежала мгновенная тень.

— Забывать уже о нем стал, столько лет прошло. Да вот, съездил третьего дня на ярмарку, и показалось, что свиделся снова. Может, и примерещилось. А только и он посмотрел на меня

издали этак внимательно, будто тоже припомнил что.

— Кто же он? — спросила Жекки. Ее любопытство мешалось с непонятым смятением. Она уже не жалела, что затеяла эту не вполне честную игру. Никогда раньше ей не приходилось видеть добрейшего Матвеича в таком волнении. Что-то темное меняло его прямо на глазах. Он слегка захмелел, взгляд его подернула туманная поволока, и видно было, что сдерживаемое два последних дня какое-то жестокое и щемящее чувство вот-вот готово выплеснуться наружу.

— Он-то?... Не говорил я тебе о нем прежде, не знаешь ты. Никому не говорил. — Жекки видела, как скрытые бородой скулы старика словно бы свела внезапная судорога. — Он был... Был, ну вроде как ты мне теперь. Ближе и быть не может. За сына его считал. Нет, ты не подумай. У меня родных деток Бог прибрал, еще, когда я с твоим папашей хивинского хана железными матюгами окучивал. Мальчишка этот был сыном князя Ратмирова и воспитательницы его старшего сынишки, мисс Грег. Незаконнорожденный, стало быть, убудок, бастард. От того и горд, и самолюбив был страшно. И сызмальства не было в нем ни капельки... как бы сказать-то, жалости что ли, или тепла к человеку, вообще ни к кому. Ни страха Божьего, ни смирения. Так вот обделила

судьба, потому как со страхом-то Божьим и благодать Божья открывается, а ему, видно, такой благодати не было положено от самого начала его.

Поликарп Матвеич тяжело вздохнул и заговорил с нарочитой размеренностью.

— Помню, один раз подрался он с братцем своим единокровным, жестоко, в кровь. А было-то им, пострелятам, одному от силы лет семь, другому самое большее — десять. Но, старший-то, само собой, и росточком повыше, и вообще, вроде как, дородней, а все одно, на вид как будто недужен. Доктора вокруг него вечно крутились целыми стаями. Княгиня выписывала их и из столиц, и будто, даже из-за границы. Консилиумы целые собирала, советовалась, как уберечь любимое чадо от всякой пустяшной болячки. Почем зря пичкала сынка разными пилюлями, да микстурами, а чуть дождик закапает или ветерком свежим пахнет — погулять во двор уже не пускала. Вот и реши, какому тут быть здоровью?

Но и душой, надо сказать, был этот старшенький слаб, и завистлив, и ябедник страшный. Меньшого за родню свою не считал вовсе. Язвил его всячески, старался то подчинить, то принизить. Ну, а Голубок мой еще крохой прослыл за твердый орешек — не поддавался ни в какую. Бывало, и слезы уже сами текут от обиды, и силенок нет, чтобы ответить, а все ж таки кулачки

сжимает, что есть мочи, скалиться и зыркает злобно, ну, чисто зверенок. Старший-то и так, и этак к нему подступался. Изводил, дразнил, шпынял, где мог подножки ставил, а чуть что не по нему — бежал тотчас жаловаться к маменьке-княгине. Та всегда, ясное дело, брала сторону родного сынка, а князь обычно в эти детские дразги не входил. Предоставлял жене с ними разбираться. И та, понятное дело, разбиралась. Вот и доставалось моему Голубку частенько. Правда, князь все ж таки приглядывал за ним, в полную волю княгине не отдавал. Как-никак, меньшей сын. К старшему-то душа уже тогда у него не лежала, не знаю уж почему. А за Голубком смотрел, точно прикидывал в уме, что-то из него дальше выйдет.

То есть, как есть, были эти княжата ребятками шустрými, но по-разному, одного с другим ни за что не перепутаешь. Так, когда я увидел их в тот раз на заднем дворе, веришь ли, сударушка, аж все внутри у меня захолонуло от горечи, что такая свирепость возможна у малых дитяток. Сцепились они как борзые щенки в клубок. Катаются по пыли, мордочки у обоих злющие, оскаленные, в ссадинах. У моего-то Голубка уже и кровь из губы за воротник хлещет, и рубашонка до пупа порвана, а все одно ножонками так и норовит пнуть братца своего побольнее. Руки-то у обоих заняты были

друг дружку держать. Я их, было, хотел расцепить. Да где там. Не дались сразу. Потом-таки растащил, так мой Голубок в другого, в княжонка-то законного, пока я его за руку отволакивал, камнем с разбега запустил. Прямо в голову. Как еще не убил, не знаю. Он ведь великий мастер был камнями по мишеням швырять. Лично сам не однажды видел, как у заросшего пруда в парке метал и по лягушкам, и по уткам. А уж сколько он жуков, гусениц и прочей насекомой мелюзги передавил в своих забавах и считать не приходится.

Стало быть, изволишь видеть, и Голубок мой хоть куда выдался мальчонка. Княжонкина нянька кроме как «оторвой проклятущей» его за глаза и не называла. Княгиня грозила в сиротский приют отдать. Князь не однажды приказывал оставлять в темной за проказы, и только родная мать, гувернантка, ласкала и баловала его, сколько могла. И его точно подменяли, когда он оставался при ней.

Раз, помню, проходил я через коридор в задней половине дома, и вижу — дверь в комнате мисс Грег приоткрыта, слышно на фортепьяно кто-то играет. Заглянул я, чего уж скрывать, хоть и не водился за мной сроду такой грех, чтоб за кем подсматривать да подслушивать. Ну, тут не удержался, подглядел. На фортепьяно-то, мисс Грег играла, больше и некому было. Одна она на весь дом была страстная музыкантша, а играла все

больше этюды какие-то, да ноктюрны. Печальные, что слезу вышибают. Но я-то на эти бабские штуки не больно падох. Мне все эти томленья, что для коняги хромого хлыст — не понимают они меня обычно. А тогда, помню, встал и заслушался, до того жалостное она что-то играла. И мальчонка ее тут же на коленях ее, с нею же за инструментом сидел. Обхватил ее этак ручонками за шею, грустный такой, мечтательный, а глазенки-то расплылись в пол личика, до того огромными стали от слез. Вот значит, для одной только мисс Грег он и был ненаглядным сокровищем, одна она могла на него управу найти.

Сам я тогда только что вышел в отставку и нанялся управляющим к князю. Мечтал еще в ту пору своим домом обзавестись, накопить денег на княжеской службе, купить какое-никакое, пусть хошь самое захудалое именьишко, да и осесть на своей земле. Ничего, конечно, из мечтаний тех не исполнилось. Все только дым, один только дым и воздыхание.

Тут Матвеич как-то рассеянно посмотрел на Жекки мутными, невидящими глазами. Кряхтя, заворочался на своем месте. Жекки догадалась, что он ищет в карманах кисет. Достав его и, не спеша, набив коротенькую походную трубочку табаком, он обошел стол, ковыляя на больных ногах. Вытянув из-за печной заслонки тлеющий прутик, прикурил

от него. Комната наполнилась горьким дымом. Матвеич с удовольствием затаился. Лицо его несколько обмякло, и он продолжил уже почти обычным своим хрипловатым голосом. Жекки его не перебивала.

— Мне тоже отчего-то было все время жаль этого мальчишку, только я виду не подавал. То есть поступал умно, не так как другие. Случается же, что вот ведь и видишь, и знаешь, каков фрукт, гнилой или ядовитый, а все равно рука сама к нему тянется. Так и у меня с этим негодником. Бежит, бывало, куда-то вприпрыжку через двор или по аллее в саду, поймаешь его за руку, да и сунешь в нее пряник там или конфету. Сначала даже не брал, хотя и сластена был страстный. А оттого, что гордец, шотландец, вишь ты, наполовину. Потом ничего, привык, понял, что я худого ему ничего не сделаю, но жалости к себе все одно не выносил ни от кого, и как только кто-нибудь напоминал ему хоть чем-то о его положении в доме, положении второразрядного сынка, впадал в ярость, прямо как львенок. Ну а ко мне привязался видно оттого, что чувствовал, что я смотрю на него как на ровню, ничем превосходства или заискивания не выказываю. Это он больше всего ценил.

И стали мы вместе с ним бродить по окрестностям усадьбы. А места там, смею уверить, какие мало еще где сыскать можно по красоте.

Сначала уходили не далеко и не на долго, потом — дальше, и дальше. Я ему, понятно, про войну с Хивой, набегии текинцев, про крепость их Денгиль-Тепе рассказывал, про нашу батарею, про разные занятные истории, которые со мной и моими товарищами тогда приключались. Много ведь было всякого и вправду занимательного. Взрослому порасскажи, и то заслушается. А мальчишке и вовсе любопытно. Глазенки, помню, у него так и закипали смолой — черноглазый он уродился, точно турчонок, а не шотландец вовсе. Ну, по породе и наружности, это он в папеньку пошел. Фамилия их хоть и велась, кажется, от древних варяжских князей, но крепко-таки набралась ордынских примесей.

В общем, ходили мы с ним этак, бродили, гуляли. Очень похоже это на наши с тобой, сударушка, прогулки, верно? Да и ты схожа с ним. Вот сейчас только подумал, до чего схожа. Трудно это в словах выразить. Тут дело ведь не во внешнем. Но да тебе по должности твоей женской положено быть добрее, податливей. И говорить нечего. В этом он другой. Но не об том речь. Стало быть, занятный он был еще маленьким, а подрастать стал — и подавно. И привязался я к нему, как к родному. Души в нем не чаял. Полюбил одним словом, вопреки тому, что видел дурного и даже отвратительного в нем. Он же, мне думалось,

тоже привязался ко мне всем сердцем и считал себе вместо отца.

Только не все так просто оказалось, и пошло все совсем не так, как думалось вначале. Вскоре я взял расчет у князя и поступил егерем в казенное лесничество, что было там же неподалеку от княжеского имения. И Голубка своего не забыл. Зазвал его к себе погостить в новом доме.

Он к тому времени уже учился в Петербурге, а маменька его в губернском городе отдельно на своей квартире жила. Князь ее обеспечил и о сыне готов был заботиться. Формально, то есть, как положено по закону, признал его, дал свою фамилию, титул, и готов был выделить часть наследства. Стало быть, почуял-таки в нем свою породу. И, ох, неспроста почуял. Ну, а княгине, да и старшему сынку это, конечно, не по нраву пришлось. Что поделаться, дела, семейные.

В общем, приезжал мой Голубок на каникулы и чуть ли не все целиком проводил их не с маменькой, а у меня в лесничестве. Вот уж я скажу тебе, сударушка, когда я с ним набродился вволю. Научил всему, что сам знал, что умел, что, думал, и ему может когда-нибудь пригодится. И до Каюшинского леса уже тогда мы с ним добирались. Он эти наши губернские дебри вместе со мной изучал тогда во всех тонкостях. И на охоту его с собой брал. Научил стрелять. И скажу тебе, что за

отменный стрелок из него получился. Я на своем веку всяких ведь разных повидал, и пока в военной службе был, и после — среди охотников, да и сам, чего уж там, не из последних считался по этой части. А только, мальчишке моему я в этом деле и в подметки бы не годился. Из револьвера он в гривенник с полусотни шагов попадал.

Или еще так забавлялся. Он же страстный охотник был до сластей, и я не скупился для него на гостинцы. Покупал и конфект разных, и пряников. Так он, бывало, даром лакомиться ими противился, а просил, чтоб я развешивал их в ряд по несколько штук за веревочки, сам отступал с револьвером ну и... По его правилу пуля должна была перебить акурат веревку, а когда сбивала саму конфекту, то этот трофей не засчитывался. Это он строго соблюдал, без всякого к себе снисхождения. И вот, поди ж ты, так наострился, что стал попадать только по веревкам. А это смею уверить, о-го-го что такое. И смел был отчаянно, и с таким даже почти презрением. Мне, мол, ваши опасности, как бирюльки. Рисовался, конечно, но на любого зверя ходил: кабана, рысь, волка. Понимаешь, мальчишка-то...

Жекки побоялась перебить Матвеича, который и так был словно бы не в себе, иначе она обязательно напомнила бы ему, что не желает слушать ничего об охоте, как о самом бесстыдном и

безжалостном надругательстве над жизнью. Хотелось бы ей возразить кое-что и по поводу личности «голубка». Нарисованный портрет представлял собой, как ей думалось, вполне законченное изображение подрастающего изверга. Отчего намерение Матвеича и дальше терзать себя, да и ее, подробностями его взросления представлялось мало понятным. Не говоря о том, что вряд ли стоило приписывать себе в качестве заслуги намерение обучать стрельбе первых подвернувшихся под руку драчливых и бездушных мальчишек.

Но Жекки не перебивала старого ворчуна и не только из простой вежливости. Она опасалась, что своим резким замечанием прервет, или, пожалуй, даже разрушит тот странный поток душевного смятения, в который с головой окунулся ее добрый друг, и тем самым ранит его глубоко, непоправимо. А Матвеич, глядя в какое-то ему одному видимое пространство, по-прежнему вел свой рассказ, нисколько не беспокоясь о впечатлении, которое тот производил на долгожданную слушательницу. Казалось, снедаемый жгучей внутренней болью, он был всецело захвачен ей, и хотел только одного — воспользоваться случаем и вырвать из себя саднящую невидимую занозу.

— Да, нравилась ему очень эта лесная жизнь, даже простой труд был в радость. Он и дрова рубил,

и воду таскал, и сено сгружал с возов, когда мы с ним в сенокос вместе работали. Развился он, возмужал не по возрасту. И вот, сразу после того лета, что мы провели с ним почитай что вдвоем друг с другом, посыпались на их княжеское племя несчастья одно за другим. Начало положил, понятное дело, он — Голубок.

Осенью, по возвращении в корпус, побился он смертным боем — по- другому-то не умел — все с тем же своим заклятым противником — старшим братцем. Князек к тому времени уже ходил в выпускных камер-пажах, без пяти минут офицер. Вроде бы как, вовсе не ровня меньшому, а вот, поди ж ты, Голубок так изувечил братцу лицо, что тот разом ослеп. Из-за чего они там схватились, толком никто не дознался, потому, как оба при расспросах, будто воды в рот набрали — молчок, и все тут. Голубка моего чуть не упекли в тюрьму для малолетних, да папенька и папенькины друзья в Петербурге за него заступились. Но из корпуса, конечно, отчислили с волчьим билетом. Про Конную гвардию, золотые эполеты, и прочие красивые мечтания, пришлось забыть. Папенька не мог ему этого простить. Такой удар для чести рода, такой позор для семьи. Не мог он этого простить и отказал им с матерью и в наследстве, и во всяком содержании. Оставил их на произвол судьбы.

А я уже говорил, что мальчишка этот был

горд безмерно. Обид не от кого не терпел и помнил своих обидчиков всегда, ничего никому сроду прощать не умел. И получив отлучение от отца, сам от него будто отрекся. Ни слова больше ему не сказал, и ни о чем просить не стал. Раз и навсегда отрезал. Ну а дальше пошло-поехало. На старого князя вскоре, словно в отместку, беды повалились одна за другой.

Княгиня так истово убивалась по ослепшему сынку, что слегла в нервной горячке, а едва оправилась, крепко поссорилась с князем. Разругались они в пух и прах. Княгиня, понятно, язвила супруга в своем духе. Вот, дескать, кого ты на свою голову прикормил, бандита-бастарда, да еще почем зря вступался за него. По твоей вине, дескать, родная кровиночка теперь калека, а она сама едва жива от горя. Ну и тут, само собой, слезы, истерики. Изувеченный молодой князек стоял горой за маменьку, а когда у той с князем дошло уже до последнего предела, объявил, что не желает иметь ничего общего с отцом-злодеем.

Князь ничего, не противился. У него от капитала в ту пору остались уже одни только бессчетные долги, а сынок-то, видно, не будь глуп, смекнул, что брать на себя княжеское имение нет никакого резону, и ухватился за случай, чтобы поскорее отвязаться. И знал ведь, этакая шельма, что маменькин наследный миллион уже сам в руки

плывет — княгиня тогда как раз получила по завещанию от дальнего родственника преогромное, сказывают, богатство.

Ну, князь, повторяю, особенно не перечил. Взял да и составил новую отказную. Имущество вместе с долгами переписал в казну, а единственным наследником древнего имени, вопреки обиде, пожелал назначить одного только Голубка, младшего сына, будто старший вовсе и не его, а не знамо чей. Скандал, конечно, разразился страшный. Да только князю, уж видно, все равно стало. До того чувствительно задели его княгиня с сыночком, что ему одного только нужно было — воздать им сторицей. Ну, закон княжеской воле перечить не стал, утвердил все, как тот расписал в бумагах, а стало быть, и нам в особенное рассуждение тут входить незачем.

Расстриженный князек, то есть на то время уже и не князек вовсе, а маменькин сын вместе с отставленной княгиней, укатил за границу. И там они вдвоем принялись усердно проживать свалившееся на них нечаянное наследство. Княгиня, видно, очень уж рассчитывала на заграничных медиков, их чудодейственное искусство. Думала, что они сына от слепоты спасут, ну а когда стали эти надежды в прах рассыпаться, опять слегла в горячке. После уже не вставала, так на жужбине и отдала Богу душу. Сынок ее, слышно,

помыкался там по лечебницам еще какое-то время, да и пропал безвестно. Я, по крайней мере, об нем больше с тех пор ничего не слышал. Старый же князь, пребывая в любезном отечестве, начал спиваться помаленьку.

На ту пору Голубок мой, понятное дело, ничего этого не знал, и жил с матерью в губернском городе, перебиваясь, чем Бог пошлет. Мисс Грег снова взялась давать уроки, он тоже сначала пробовал в том же духе, но скоро бросил. Я хотел, было, им помочь, дать денег, да только испортил все. Он денег не взял, воспринял, как подаяние, сказал, что знать меня не желает. Так мы с ним поссорились первый раз. Правда, как-то скоро помирились. Он сам приехал ко мне уже после ссоры, вот в эту самую усадьбу, где мы с тобой сейчас разговариваем, потому как я перевелся тогда в Каюшинское лесничество, и он навестил меня здесь, чтобы проститься. Ему минуло в ту пору девятнадцать лет, и вышел из него молодец хоть куда. Статный, сильный, кровь с молоком. Девкам на загляденье. Но я-то, стреляный воробей, уже догадывался, на какую скользкую дорожку он вышел. Такую дорожку, что уводит молодцев вроде него напрямиком на каторгу.

Пока он жил в губернском городе, то нуждался в деньгах, искал возможности заработать много и сразу. Оттого и связался там с первыми

попавшимися негодьями, с аферистами и карточными игроками самой скверной выделки. Чуть не с уголовными. И стал зарабатывать игрой. Мать тоже, кажется, знала об этом, пыталась отворотить его от них, да все без толку. Ничего нельзя было поделать. Легкие деньги соблазнительны, а он был малый бедовый, не из пугливых.

Приехал он тогда ко мне, уже отравленный всей этой жизнью, которую вел там, в этом разбойном кругу. Игра, надо полагать, не вполне честная. Связь с каким-то мошенниками, которые надували обманными сделками купцов и заводчиков, выуживая у них капиталы. Кутежи в той же компании на речных пароходах и за городом в самых грязных кабаках, непотребные девицы... Одним словом, не твоим ушам, сударушка моя, все это слышать. И когда он приехал ко мне, чтобы проститься, я даже обрадовался. Подумал, что, вот мол, за ум взялся, хочет уехать подальше, чтоб отвязаться от некудышных своих друзей. Да только, я ошибся. Оказалось, — я это уже после узнал, — вздумал он всего-то навсегда удрать от сыскной полиции, но не тут-то было. Сцапали его, как миленького, да и упекли в кутузку. Искали, будто, веские улики, но не нашли. А как только он оттуда вышел, так и пропал безвестно, не ведомо куда. Знать, не сладко пришлось за решеткой-то. Он же

как-никак барчук, белая кость. Знамо, не сладко. Ушел в общем, как у них, у этой публики говорят, в бега.

Я, помню, все ждал, что хоть письмишко какое мне пришлет, ну хоть два словечка в записочке. Мне ведь только и надо было знать, что он жив, здоров, да не забыл меня. Но ни словечка ни единого от него так и не получил. Сердце о нем все изболелось, ну как о родном. Думал, мать его что-нибудь знает. Поехал к ней на квартиру, в город. Открыла мне баба-прислуга, и сказала удивленно так, что госпожа Грег, де, померла два месяца как, а квартира теперь сдана новым жильцам. Я чуть не расплакался, будто малое дитя, прямо там, в передней. Понял, что последняя ниточка, связавшая нас, оборвалась...

VI

Матвеич пыхнул трубкой и посмотрел опустевшими глазами на лиловую пелену табачного дыма, неподвижно зависшую на уровне его глаз. Взглянув на него, Жекки вдруг впервые увидела, до чего же стар ее Поликарп. Какие глубокие морщины рассекают его высокий лоб, расходятся от переносицы, ползут по смуглым щекам, путаясь в поредевшей, совсем седой бороде.

— Так вот оно вышло, — продолжил он

словно через силу, с трудом подыскивая слова, которые и без того не сразу пробивались сквозь тяжелые сплетения чувств, обретая, видимо, не вполне точное соответствие тому, что старый лесник пытался, но не мог выразить. — Однако ж увидеться с ним мне довелось-таки спустя примерно четыре года. Всякую надежду на его счет я к тому времени уже потерял. Думал, пропал мой Голубок весь как был, с потрохами. Жизнь-то она во какая, не охватишь, а человек в ней один, точно песчинка в океане. И крутит она им, и вертит, как вздумается, и что с той песчинкой бывает, когда она поперек океана возмущается всякий дурак скажет — ровным счетом ничего. А Голубку моему, видно уж так на роду было написано — всюду поперек встречать. Потому что сызмальства не умел он никому подчиняться, и ничьей воли поперек своей не признавал. Вот и думал я, что пропал он, то есть не в том смысле, что нет его уже на свете. А в том, что погубил он навек и жизнь свою, и душу. Разменял на всякую паскудную дрянь, и все стоящее проиграл и убил в себе. Не надеялся я уже ни на что. И ведь как в воду глядел.

Матвеич еще раз пыхнул своей носогрежкой, отогнал рукой неподвижно зависшую перед глазами дымную паутину. Жекки заметила его большие натруженные пальцы с пожелтевшими обломанными ногтями, произвольно в волнении

сжимавшие штанину на левом колене. Глаза старика были обращены все в ту же ушедшую даль.

— Раз как-то осенью пришлось мне отдать последний долг старому товарищу по службе в Туркестане, Селищеву. Ездил я на его похороны в Саратовскую губернию, в тамошний маленький городишко, а обратно домой поплыл из Саратова пароходом по Волге. Погода стояла холодная, пасмурная. Зарядили дожди, и пароходное сообщение скоро должно было прекратиться. Мой пароход был одним из последних. Народу на рейс собралось порядочно. Все спешили воспользоваться последней оказией.

Я ехал во втором классе, и, не смотря на скверную погоду, вечером перед сном выходил на верхнюю палубу прогуляться. В тот вечер я как обычно проделал свой моцион. Посмотрел, как за бортом разбегается от колеса белая пена, как перекатываются серые волны, прислушался к крикам чаек. Мельком отметил прогуливающих тут же других пассажиров. Я уже со всеми перезнакомился, чтобы соблюсти положенные приличия общежития. Не более. И на душе у меня, сказать по правде, было невесело. Да и то, какое уж веселье после похорон.

И вот собрался я, было уже идти к себе в каюту, потому что стал накрапывать дождик, и потянуло довольно свежим ветром, как из люка,

ведущего на палубу, один за другим поднялись несколько господ приличного вида. Они как-то сгрудились вместе, перемешались, стали шумно что-то говорить и смеяться. Было похоже, что кое-кто из них сильно навеселе. А так как раньше я не видел никого из этой честной компании, то догадался, что они сели недавно во время последней остановки, и, скорее всего, едут первым классом — только там оставались свободные каюты. Они продолжали шуметь, но я не прислушивался, собирался спуститься к себе. Другие пассажиры из старожилов тоже не сильно обрадовались такому неожиданному соседству, и торопились разойтись. Господа из первого класса тоже что-то там себе решили и стали продвигаться к выходному люку.

Как вдруг, один из спускавшихся по трапу, высунул голову наверх и позвал своего приятеля, который все еще стоял у борта. От этого возгласа у меня, веришь ли, сударушка, ноги так сами собой подкосились. Я едва не упал. Ведь он назвал имя моего Голубка. Я уже не мог двинуться с места и смотрел издали во все глаза на того, стоявшего у борта. Он никуда не спешил. Приятели его засмеялись чему-то и стали спускаться вниз, бросив его стоять в одиночестве. Прочие пассажиры тоже скоро ушли.

Мы остались с ним вдвоем на палубе. При

таких обстоятельствах, человек поневоле обращает внимание на другого. И он отметил мое присутствие, посмотрел пристально и сразу узнал. Я понял это по взгляду. И сам, не ожидая, что он меня окликнет, как одержимый первым рванулся к нему со всех ног. Но объятия получились принужденные. Он как-то поспешно отстранился. Я смотрел и не верил своим глазам.

Передо мною был мой Голубок, но каким же он стал... Господи, Боже мой, каким он стал... Это был молодой князь Ратмиров, а не беглый каторжник, каким я ожидал его встретить. Он был дорого одет, по моде, хоть я в этом плохо разбираюсь. Темно-серое пальто было расстегнуто, шелковый шарф выбился из-под воротника и развевался ветром. На левом мизинце блестело кольцо с черным камнем. Он докуривал дорогую тонкую сигару, стряхивая пепел в забортную воду. Мысли у меня смешались. Я не знал ни о чем спросить, ни что ответить. Словом, стушевался, как последний болван, потому как увидел совсем чужого мне человека. Ну, о чем, скажи, было мне с ним толковать? Но и расстаться вот так, шутя, я с ним не мог. Не мог отпустить, не расспросив толком, не узнав, что и как. А он напротив, отвечал коротко, неохотно.

Первым делом я, само собой, спросил, где он пропал столько времени. «Был в Америке, в

Европе, в разных местах», — отвечал он. «Откуда же вы теперь?» И я, и он всегда только на «вы» друг друга величали. Всякую фамильярность он в мои времена принимал в штыки. Так и осталось. «Из Персии», — говорит. «Чем же вы нынче занимаетесь?» — «Прожигаю жизнь, Поликарп Матвейч, вам лучше не знать этого». — «Где же, — говорю, — вы живете постоянно, ведь у вашего отца остался дом? Имение еще, кажется, не распродано». — «Меня это не интересует». — «Может, спустимся в ресторан, разопьем бутылочку. Здесь очень приличная есть мадера». — «Я знаю, — говорит, — меня там уже ждут». — «Спустимся вместе?» — «Как хотите». Было ясно, что ему не хочется продолжать разговор, но я ничего не мог с собою поделать и увязался за ним.

В ресторане первого класса вся его компания была в сборе. Еще несколько солидных господ — кое-кто с дамами — сидели за столиками. Он так же неохотно, сквозь зубы, меня представил. Компания меня приняла, но оставила без особого внимания. У них шел между собой какой-то свой, особый разговор, из которого я, как ни старался, ничего не понял. Они говорили на каком-то птичьем языке, такими словами, каких я отроду не слышал. Понял только, что речь шла об акциях, банковских процентах, биржевой игре и ценах на американский хлопок в Лондоне. Голубок изредка вставлял

замечания, но горячего участия не принимал. Видимо, в этот день он был не в духе. Все много пили. Закуски за их столом были самые дорогие. Я тоже немало выпил, разгорячился и вместе с тем чувствовал, что начиню раздражаться поведением своего... в общем, старого знакомого.

Он почти не смотрел на меня. Часто отворачивался. И тут один его собутыльник, с лицом как у мартышки, прервал их тарабарщину и предложил разыграть партию в макао. Общество его поддержало. Я быстро хмелел, нервы разыгрались, и я тоже, не помню как, сам предложил свое участие в игре. Голубок, глядя на меня, ядовито так ухмыльнулся. Мы попросили убрать для нас столы, принести карты и начали играть. Составились партии за двумя столами. Даже и захмелев, я скоро понял, с кем привел меня Бог связаться, да было поздно. Эта была целая шайка карточных мошенников или что-то такое, вроде как шулерская артель. Я это понял потому, что мне приходилось же играть, но никогда не приходилось иметь дело с игрою, в которой все нечисто, и один мошенник покрывает другого. Эх, сударушка, тут в двух словах не объяснишь, как я это узнал. Почувствовал. И точка.

Сидел я в партии с Голубком. Случайно или нарочно у него это получилось, не знаю. Он сдавал карты. Я проигрывал раз за разом. Проиграл все до

копейки. А главное, ведь понимал, дурак такой, что меня обманывают.

Пробовал было одного подловить на мошеннической увертке, да ничего не вышло. Мне же указали на то, что я неверно играю. Раздраженный всем этим дальше некуда, и Голубком, и нашей с ним встречей, своим проигрышем, его приятелями, их непонятными разговорами, его... Да, всем, что увидел. Не вытерпел, встал этак из-за стола, да и сказал прямо, глядя ему в глаза. «Вы, — говорю, — милостивый государь, были когда-то дрянным мальчишкой, а теперь доросли до отъявленного негодяя». Все, кто это слышал, притихли, опустили глаза. Он слегка изменился в лице, тоже встал, не спеша, подошел ко мне, и этак почтительно приобняв за плечо, преспокойно спросил: «Не надобно ли вам денег, Поликарп Матвейч? Я готов одолжить». Сказал и засмеялся. У меня от этих его слов точно сердце оборвалось, точно он его каленым прутом проткнул. Меня зашатало, я зацепился там за что-то, и кое-как вышел.

Рано утром меня растолкал человек. Пароход причаливал к моей станции. Я сошел на пристань, как лунатик. Тело несло меня, а меня самого точно не было. Точно что-то надорвалось... не знаю. Словом, вот так я и расстался со своим Голубком, Греггом, как все его называли...

Жекки взяла тяжелую загрубевшую руку Матвеича и прижалась к ней щекой. Утешающие слова не шли к ней. Она растерянно смотрела на поникшую седую голову Поликарпа, слышала, как тяжело с прерывистым хрипом доносится из груди его дыхание, и не могла произнести ни слова. Сердцем она сочувствовала ему, но при всей симпатии, не могла понять. У нее никак не укладывалось в голове сама возможность такой безотчетной отцовской любви к чужому мальчишке, чьи гадкие наклонности с самого начала не обещали ничего хорошего.

К ее облегчению Матвеич сам, не дожидаясь вопросов, прервал затянувшееся молчание.

— Если бы не ты, сударушка, то и не знаю, как бы я тогда... совладал... Кабы не пришлось с тобой нянькаться, да уму-разуму учить, то и не знаю, ей Богу.

— Полно, Поликарп Матвеич, что вы в самом деле. Расстались вы со своим Голубком, и прекрасно. И не о чем тут жалеть. Что было, то прошло. Не вы ли совсем недавно признались, что стали забывать о нем, вот и надо было забыть совсем. Взять и забыть.

— Оно бы и так, — согласился Матвеич, — да дернул меня черт поехать на эту ярмарку...

— Но почему вы решили, что видели именно его? Рассудите, что делать такому человеку в

нашем захолустье?

— Не знаю, сударушка. Близорук я стал, вдаль, по правде сказать, вижу туманно, а только сердце говорит, что он это. Он, понимаешь. Может, в родные края его потянуло, может дела какие по отцовскому имению, что ушло в казну по залогу, а может, и еще что, мало ли?

— Ну и довольно о нем, — нахмурилась Жекки. — Голубок это или нет, вы напрасно себя изводите, Поликарп Матвеич, честное слово. Вам нельзя волноваться. Кстати, вот все хотела отдать, и чуть не забыла. Гостинец от шурина моего. — Жекки вытащила из дорожной сумки небольшую стеклянную баночку, наполненную вязкой желтоватой массой. — Ваше лекарство от ревматизма. Николай Степанович сказал — очень хорошая мазь. Втирайте ее в поясницу перед сном на ночь и поверх обматывайте шерстяным платком. Сделайте милость, попробуйте непременно. Николай Степанович, уверил, что через неделю должно полегчать.

Матвеич принял баночку осторожно, как будто прикидывая ее на вес. Недоверие к научной медицине в лице доктора Коробейникова боролось в нем с чувством благодарности. Благодарность естественным образом победила.

— Спасибо, сударушка, — он пощекотал Жекки за щеку своей бородой, заменив этим

движением обыкновенное признательное чмоканье. — И шурина поклон от меня передавай, и сестрице. Так и передай, мол, кланяюсь и благодарю. Елена-то Пална, чай, все в хлопотах с маленькой, не досуг ей теперь.

— Ну, уж не слишком-то она себя утруждает. У нее нянька замечательная, не нянька, а золото. Алефтина. Помнишь, та, что еще Степу у них вынянчила. И Павлушу. А, может, и Юру... В общем, она давно у них. И вправду, замечательная в своем роде. Но самое удивительное, что, кажется, Николай Степанович совершенно счастлив. Наконец-то после троих мальчишек дождался девочку. Да, он был просто на седьмом небе, когда об этом узнал.

Жекки тоже ощутила себя почти на седьмом небе из-за того, что без заметного принуждения перевела разговор на семейные радости сестры, недавно подарившей доктору Коробейникову очередного ребенка, и тем самым отвлекла Матвеича от проклятого Грега. Матвеич, заметно умиротворенный таким оборотом беседы, принял на руки сонного Кота и, почесывая его за шею пониже морды, добился воркующего благодарного урчания. Лицо старика приняло обыкновенное добродушное выражение. Судя по всему, он постепенно приходил в себя. «Слава Богу, — подумала Жеки, — у него есть этот кот. Есть

служба в лесничестве, и... Он как-нибудь справиться со всем этим, и мне не совестно будет оставить его одного. Вроде бы он держится молодцом».

Благодушный вид Матвеича действительно располагал к таким мыслям.

Потолковав с ним еще с четверть часа о всяких мелочах, о погоде, повторив подробную инструкцию относительно применения целительной мази и поблагодарив за вкусное угощение, Жекки простилась с лесником, пообещав заехать к нему снова, как только вернется из города, куда она собиралась по неотложным делам.

За воротами лесного особняка ее встретил Серый. Волк непринужденно поднялся навстречу, когда Жекки выехала на просеку. Как ни старалась она скрыть свое подпорченное настроение, острый взгляд Серого заметил перемену, произошедшую в ней. Она поняла это по тому, что волк проводил ее чуть ли не до самой усадьбы, к которой редко когда приближался, как и вообще к любому жилью двуногих. И пронизательность Серого как всегда была более чем оправдана. Всю обратную дорогу до Никольского, не смотря на рассудочные уверения в том, что ничего особенного не случилось, Жекки не покидало какое-то безотчетно тяжелое чувство.

На следующий день после обеда она отправилась с Андреем Петровичем Федыкиным — своим сезонным компаньоном — на мельницу Егорова. Еще раньше, утром, туда же из Никольского выехали три подводы с зерном под присмотром старосты Филофея. Жекки рассчитывала отдать на помол пока всего лишь восемнадцать пудов ржи, и вместе с тем купить у Егорова для своей надобности пуда три пшеничной муки. Еще нужно было примериться к расценкам Егорова и, возможно, продать-таки ему оставшуюся часть урожая. Живые деньги, как накануне призналась Жекки Матвейчу, были нужны до крайности.

Они ехали в Жеккиной легкой двуколке. Недовольный Алкид то и дело встряхивал под хомутом темной гривой, ибо возить Жекки предпочитал исключительно верхом. Но сегодня, решая судьбу оставшейся части урожая, Жекки нуждалась в советах опытного человека. Ради заинтересованного посредничества Федыкина ей пришлось пойти на известные жертвы. Да, и потом, сколь бы раскрепощенно ни вела она себя в собственных владениях, деловые отношения с подрядчиками, закупщиками и заимодавцами, диктовали свои правила. Когда дело того требовало, Жекки с готовностью соблюдала предписанный

этикет. Обыденный выезд в экипаже заключал в себе как раз все признаки традиционности. Оделась она тоже с соответствующим случаю скромным достоинством: слегка укороченная, по щиколотку, в меру узкая коричневая юбка, укороченный и плотно по фигуре сидящий клетчатый жакет английской шерсти, на голове — маленькая изящная шляпка, украшенная умеренно-пестрым букетом цветов. Жекки осознавала, что выглядит в этом наряде очень мило и, вместе с тем, вполне консервативно.

Федыкин одним глазом посматривал на ее руки в коричневых лайковых перчатках, а другим успевал наблюдать дорогу. Это был еще не старый мужчина из мелкопоместных, умудрившийся за казенный счет закончить курс в коммерческом училище. Небольшого роста, слегка сутулящийся, с рыжеватой выцветшей бородой и тоже какими-то выцветшими слезящимися глазами, привыкшими смотреть на собеседника исподлобья или сбоку, прекрасно знающий «свой интерес» и умеющий его отстаивать при любых, самых неблагоприятных обстоятельствах. Он жил на хуторе Грачи, в семи верстах от Никольского. Вел хозяйство, слыл превосходным аграрием и по старой памяти управляющего большим имением согласился, разумеется, за определенную плату, сезонно помогать Жекки советами и надзором за полевыми и прочими работами.

Особенно ценна его поддержка была осенью, когда предстояло правильно распорядиться собранным урожаем. С Жекки он держался почтительно, но без заискивания, и хотя в глубине души не мог одобрять такого порядка вещей, при котором муж-помещик позволяет своей молоденькой жене распоряжаться всеми делами в имении, отдавал должное Жеккиной неутомимой энергии, практической сметке, и всему тому, что он называл «умением жить». Наблюдая ее уже не первый год в качестве хозяйки Никольского, он постепенно проникся к ней некоторым уважением. Полного доверия она, впрочем, не вызывала. Но, он научился прислушиваться к ее доводам, принимая их в расчет, даже если считал ошибочными. Вообще, за несколько лет они незаметно притерлись друг к другу, научились ладить, не смотря на почти постоянные разногласия.

Разговор в пути у них неизбежно зашел о превратностях русского климата и видах на будущий урожай.

— Еще один такой год, — сказал Федькин, равнодушно посматривая на пробегающие мимо поля, — и быть беде. Мужички уже сейчас ропщут вовсю, а кое-где и поголаживают. Хлебушка-то собрали — кот наплакал, и к весне, пожалуй, что, сеять будет нечего. Проедут все до последнего зернышка, а тогда, что прикажете мужику делать?

Голод — это вам, матушка моя, не шутка.

— В губернии есть казенные запасы на такой случай, — возразила Жекки. Разговоры про недовольство мужиков она воспринимала очень болезненно. — Власти должны будут вмешаться.

— Эка, власти. Что от них толку? Ну вмешаются, ну раздадут эти куцые запасы, так к тому времени сколько уже душ ко Господу отправится? А то, что раздадут, мужички тут же и проедят с голодухи. А коли весной не засеют, то и осенью не пожнут. Стало быть, снова беда.

— Что же вы сделали бы на месте губернатора? Издали бы указ дождям немедленно пролиться над вверенной вам губернией?

— Я-то? — Федыкин деловито откинулся на сиденье, — я бы уже сейчас начал завозить в губернию зерно, потому как его потребуется не мало. За казенный там счет или благотворительно, не важно. Чем больше завезут, тем лучше. Да только нешто, наши губернские на такое способны? Тут надобно самим шевелиться, а не успокаивать Петербург уверениями в совершенном своем почтении.

— Авось, бог милует, — сказала Жекки, выразив одновременно предполагаемую позицию губернских властей и свою собственную надежду.

— Вот то-то, что авось. А когда подступится напасть, поздно будет локти кусать. Наши мужички

— народ робкий и покладистый, пока он хоть каплю, да сыт, а когда дойдет до края, тогда не обессудьте — возьмутся за топоры.

Жекки внутренне съежилась. Зрелище народного бунта ее отнюдь не прельщало. На ее памяти прошел 1905 год. Вспоминалось дружное ликование на улицах Нижеславля по случаю манифеста о даровании свобод. Крестьянские волнения тогда обошли их уезд стороной. Лишь в двух-трех местах, как ей приходилось слышать, произошли какие-то серьезные конфликты мужиков с крупными землевладельцами, но и они закончились полюбовно.

Сейчас же, слушая Федыкина, она невольно задумалась о возможных последствиях неурожая. Думать об этом было неприятно, хотя мужицкий ропот звучал уже не где-нибудь, а у нее под боком — в Никольском. Пока еще глухой, бессвязный, но отдающий какой-то мрачной решимостью.

— А что это, Андрей Петрович, за странные слухи ходят сейчас в уезде о каком-то проклятье, — спросила она, припомнив случайно подслушанный обрывок из разговора двух никольских крестьян. — Что-то такое о засухе, как наказание за прятие нечистого и прочую чертовщину. Я ничего не понимаю, если честно.

— Да, говорят, говорят, Евгения Павловна. Известная вещь — народное невежество. Слушают

своих проповедников. Старец какой-то Лука у них объявился. Ходит от деревни к деревне, собирает подаяние, да между делом выдает Правду. Народу же важно иметь объяснение свих несчастий. А какое они могут дать объяснение засухе, что случается два года подряд? Само собой, самое нелепое и чудесное, какое только может родиться в самом темном воображении. Старые сказки про Князя-хозяина, переиначенные по случаю на новый лад. Вот и все их объяснение.

Прожив большую часть жизни в Никольском, Жекки, конечно, не раз слышала распространенное в их лесном крае предание о некоем Князе — волке-оборотне, обитающем в каюшинских дебрях и имеющем власть над всеми его обитателями. По представлениям крестьян Лесной Князь, — а они, надо полагать, признавали его своим настоящим хозяином, вольным распоряжаться их жизнью и смертью, — мог быть и милостивым, и гневным. Мог навести порчу на скот и урожай. Мог, приворожив человека, напустить на него безумие, а мог наслать такой невиданный недостаток, что самый никудышный мужичонка сразу же превращался в богатея. Словом, самые обыкновенные сказки, наслоенные на более древнее поверье о людях-оборотнях, будто бы когда-то заселявших здешние леса. Жекки не считала возможным принимать всерьез эти выдумки. Но сейчас с

тревогой поглядывая на Федыкина, слушала его внимательно и лишь изредка задавала вопросы.

— И что же проповедует этот Лука?

— А то, что Господу Богу не угоден стал наш местный люд, погрязший во всяческой скверне, отринувший благого Всевышнего и предавшийся во власть темного Князя. Отступились-то они, надо полагать, давно, да вот настал предел и Божьему терпению. И обрушил Господь на всех нас проклятье под видом засухи, ну вроде как огонь на неправедные города Содом и Гоморру, и обещал не давать более ни капли дождя, пока инские мужики не очистятся, то есть, не отрекутся от дьявольской власти.

— Какая чушь, — сказала Жекки, уверенная, что подобная галиматья не может толкнуть мужиков на выступления против помещиков, а ее волновала именно эта и никакая другая сторона вопроса.

— Ясно, что чушь — согласился Федыкин, искоса посмотрев в озабоченное лицо Жекки, — а только сказки рассказывать мы им запретить никак не можем. На чужой роток не накинешь замок. Разговоры эти останутся сами собой, если, к примеру, пойдут дожди. А не так, то будут продолжаться и, уж как водится, начнут обрастать новыми небылицами. Нам, землевладельцам, нужно быть готовыми ко всему. Особенно вам, Евгения

Павловна.

Последнее замечание заставило Жекки обернуться с немym вопросом.

— Вы часто ездите в лес одна, катаетесь верхом по полям и проселкам. Вы дружны с лесником Поликарпом, вам нужно быть осторожной, Евгения Павловна, — заключил Федыкин и быстро отвел глаза.

— Не понимаю, — искренно удивилась Жекки, — какое им может быть до всего этого дело?

— Очень большое дело. В их воображении вы можете быть связаны с Князем, иначе, почему вы ездите одна по лесам. Пока Князь был милостив, возможно, это только добавляло вам почтения, а стоит народному мнению переметнуться, настроившись в духе проповедей Луки, и тогда любовь к красивым пейзажам, может вам дорого обойтись.

— Не хотите ли вы сказать, что я должна отказаться от...

— Это как вам будет угодно, — изрек Федыкин. — Пока слышно всего лишь роптание недовольства. Что будет, если оно разрастется? Я-то грешным делом сужу так, что вам не следует легкомысленно относиться ко всем этим слухам. Хотя бы временно, пока мужички на взводе. А там, глядишь, может, все и образуется.

Жекки встретила предложение консультанта молчаливым осуждением. Она и не подумает менять свое поведение в угоду мужицким бредням. Уж если на нее не могли повлиять сплетни, распространяемые в «приличном обществе», то сплетни низов не повлияют подавно. Федыкин равнодушно принял ее молчание. Он сказал то, что считал необходимым в соответствии с заключенным между ними негласным контрактом, а уж как Жекки воспримет его совет, на то ее полная воля.

Алкид без усилий мчал двуколку с седоками по твердой, как булыжная мостовая, проселочной дороге. На ухабах двуколка подпрыгивала, выбрасывая Жекки высоко вверх над сиденьем. Федыкин, избавленный от необходимости править конем, держался одной рукой за низ сиденья, а другой — за боковую, в виде скобы, ручку повозки. Страдания возницы его занимали не больше, чем слабые порывы встречного ветерка. Но Жекки, устав взлетать и падать, все же выбрала момент, чтобы переложить вожжи в правую руку, а левой ухватиться за толстый кожаный низ сиденья. Стало намного удобней. Можно было даже слегка расслабиться, оглядеться по сторонам. Местность к тому располагала. Слева однообразно тянулись сухие поля, справа — разноцветными изгибами пестрел Каюшинский лес. К горизонту подступала

окутанная белесой дымкой глухая осенняя даль.

«И зачем все так, а не иначе? — вдруг накатило на Жекки знакомым безответным стеснением. — Почему не иначе?» Это грустное вопрошание позабытого мудреца от случая к случаю довольно часто в последнее время приходило ей в голову, обычно, когда она сталкивалась с каким-то особенно вопиющим противоречием или неразрешимыми в данную минуту сомнениями.

Мысли о голоде, расплзающемся по всей губернии, о подпирающих его таинственных преданиях, о таящихся под спудом страшных последствиях мятежа — страшных, прежде всего, своим безудержным произволом, — нагоняли на Жекки тревожные предчувствия. И хотелось бы не давать им воли, и надо было бы, взяв себя в руки, переключиться на предполагаемую цену, которую может дать Егоров за ячень, но обычная готовность мыслей откликаться на текущую практическую потребность почему-то больше не срабатывала. Тревога, словно коварная болезнь, однажды проникнув в мозг, продолжала монотонно, исподволь, не переставая, донимать ее.

VIII

— Да есть еще кое-что неприятное, —

прервал молчание Федыкин, очевидно занятый всецело добросовестным исполнением «контракта». — Третьего дня услышал от одного моего приятеля, Юшкина — у него бакалейная лавка в Инске — и еще кое от каких тамошних знакомых. Говорят, в город, будто на ярмарку, съехалось несколько богатых людей из губернии, а частью и из столицы. И скажу вам, Евгения Павловна, замышляют они неладное.

— Что же? — спросила Жекки довольно рассеянно. Во-первых, она мало рассчитывала на приятные известия от Федыкина, а во-вторых, надеялась, что самые плохие он уже сообщил.

— Собираются они, будто бы, скупать земли по всему уезду, сплошь владениями и кусками, и прежде всего лес, что еще остается в частных руках.

— Ну и что? — Жекки с недоумением взглянула на Федыкина. — Пусть себе скупают, лично я им ничего продавать не собираюсь.

— Могу предположить, что вам не удастся от них отвертеться.

— Это еще почему?

— Потому, Евгения Пална, что люди из столиц просто так не приезжают в лесное захолустье. Их интерес к Каюшинскому лесу весьма и весьма основателен. Настолько, что, когда известный вам Муханов отказался, по слухам, продать им свой участок, то через пару дней в

инском управлении Петербургского банка его уведомили о переходе его имени в безраздельную собственность этого самого банка по закладной за неуплату. Муханов клянется, что изначально по договору сумма процентов была вдвое меньше, что они подсунули ему другую бумажку, а он, не глядя, ее подмахнул. И теперь у него нет ни денег, ни имени.

— Вы хотите сказать, что эти люди... что они...

— У них связи, короткие знакомства с губернскими чиновниками, с банковскими управляющими. Я полагаю, из Петербурга их тоже никто не одернет. В их делах замешана уйма важного народа. Дела эти, понятно, не нашим чета. У них на кону сотни тысяч, а то и миллионы, и они пойдут на что угодно, лишь бы получить свое.

— Что вы такое говорите, Андрей Петрович. Да это против всех правил. И потом, разве они получают свое? Это же настоящий грабеж.

— Это уж как вам будет угодно.

— Но какой у них может быть интерес? С какой стати им потребовался наш лес? Зачем?

— А, вот это самый правильный вопрос, Евгения Пална. Зачем? — Федыкин потянул недолгую паузу, взглянув на Жекки исподлобья с каким-то сомнительным торжеством, словно в эту минуту отождествлял себя с «богатыми людьми из

столиц». — Но и на него ответец уже имеется, — продолжил он, с поспешностью опустив глаза. — Говорят, это ведь все пока только слухи, будто через каюшинские леса хотят провести железную дорогу, при том не в одну, а в две линии. А в Инске построить большую узловую станцию. Вы представляете, по какой цене можно будет продать эти скупленные участки? Да отныне, если только все это правда, в чем лично я не сомневаюсь, наш уезд превратится в подлинный Клондайк, в золотой прииск имени Джека Лондона.

Жекки не читала Джека Лондона и не знала, что такое Клондайк, а из всего сказанного Федыкиным поняла только одно — Каюшинский лес, Никольское, а значит, и она сама, ее жизнь и все, что было ценного в этой жизни, вот-вот будет поставлено на край какой-то ужасной пропасти. От осознания этой новой беды перед глазами у нее поплыл красный туман. Затылок, словно зажатый в тисках, сдавила мгновенная боль. Она почувствовала невыносимое жжение в пересохшем, словно ошпаренном раскаленным песком, горле. И еще прежде, чем к ней вернулась способность понимать окружающее, Жекки с бессознательным нетерпением потянулась к своей дорожной сумке, брошенной в углу сиденья. Судорожными пальцами нащупав в ней округлый бок жестяной баклажки, она поскорее вытащила ее и, ни говоря ни слова,

сорвала пробку. Ледяная колодезная вода из николевских недр спасительно обожгла рот. Задыхаясь, она принялась пить большими порывистыми глотками, пока не почувствовала, что смертоносная сушь в горле побеждена, и мутные красные очертания предметов не обрели привычной четкости и естественной окраски.

С незапамятных пор Жекки усвоила неперемное правило — не уходить и не уезжать никуда, не прихватив с собой хотя бы небольшой запас воды. Она знала, что, удалившись от жилья, оказавшись в чужом месте, легко сможет обойтись без еды, без крова над головой, без помощи людей, но совершенно не способна обойтись без воды. Поэтому для нее существовал железный закон — уезжая из дома, ни в коем случае не забывать эту баклажку. Подумать только, что бы она сейчас делала без нее! Жекки еще жадно поглощала свой волшебный напиток, как в голове у нее промелькнула грустная мысль: наверное, с такой же жадностью впитала бы в себя каждую каплю влаги и высохшая окрестная земля. Жекки чувствовала это, как будто сама была ее малой частицей, некогда отломившейся от огромного целого. Как никто другой она понимала, что должна испытывать изнемогающая от жажды земная плоть, не менее живая, чем ее собственная.

Отдышавшись, она закрутила пробку и

вернула баклажку с остатками воды на прежнее место. Федыкин, как ни в чем не бывало, смотрел по сторонам. Скорее всего, он даже не понял, какое потрясение произвело его сообщение. Переживания госпожи Аболешевой имели для него значение только в рамках, установленных условиями негласного договора. Предотвращать внезапные приступы жажды, равно как и волноваться по поводу существования Никольского, заключенный между ними контракт не предписывал.

— Что же по-вашему мне теперь делать? — спросила Жекки, как только дар речи вернулся к ней. — Если мне предложат продать мой лес?

Вот это вопрос по существу, и на него Федыкин должен дать максимально продуманный ответ.

— Продавать, — выдал он, слегка потягивая спину, уставшую от однообразного положения. — Сразу же соглашайтесь. Больше начальной цены они все равно вряд ли дадут. Не те это покупатели, что привыкли уступать.

Жекки подавленно замолчала. Продать двести десятин Каюшинского леса, принадлежавшие еще ее прадеду, да Федыкин просто с ума сошел, или он хочет над ней посмеяться? Впрочем, Федыкин никогда над ней не смеялся, не шутил, не заводил флирта. У них была одна, исключительно практическая заинтересованность друг в друге, и

Жекки даже с большей сердечностью пыталась подходить к человеческим особенностям Федыкина, чем он к ее сложному своеобразию. «Что же теперь делать?» — этот безответный вопрос повис в воздухе, как Домоклов меч, требуя от Жекки какого-то решения. Решение, предложенное Федыкиным, не шло ни в какие ворота. Она ни за что не расстанется с владениями, принадлежащими ей по праву. Это ясно, но, что же в таком случае делать?

— А, если, положим, я не соглашусь, что тогда? — спросила она на всякий случай и, желая попутно выудить как можно больше сведений о планах «заезжих покупателей».

— Я бы не советовал вам этого, Евгения Пална, — ответил Федыкин, на сей раз вытягивая затекшие нижние конечности, — не стоит с ними тягаться. Просто даже глупо это будет с вашей стороны. Вспомните Муханова. Очень показательный случай. Вспомните про свои непогашенные долги. Это для них крючок, за который вас можно легко подцепить. И если предложат, повторю еще раз — продавайте, не задумываясь. Останетесь, по крайней мере, с домом. Лес-то они у вас все равно отберут, так уж лучше продайте. Вернее всего затребуют его вместе с Марьиным выгоном, да и часть Волчьего Лога прихватят. Я, понятно, карты строительства не

видел, но могу прикинуть по тому, что уже знаю, где они купили участки и по тому, как должны разойтись пути от узловой станции, если она будет строиться вблизи Инска. Ничего тут мудреного нет. Так вот, выгон и Волчий Лог тоже нужно будет продать. Они лежат акурат поперек строительства. А природные красоты в прежнем виде вам уже наблюдать не придется в любом случае, потому как железная дорога, Евгения Павловна, пройдет на двести пятьдесят верст в обе стороны от города, а стало быть, от Каюшинского леса все равно останутся только рожки да ножки.

— Не может быть, — едва выговорила Жекки, сглотнув вязко набухшую слюну. — И что же теперь делать?

Этот вопрос был обращен не к Федыкину. От своего консультанта она уже не ждала ответа. Вопрос, повисший в воздухе, обращался в воздух, пустоту, которая распухала, словно наполняемый газом воздушный шар, и росла, расплзлась, растягивалась во все концы света, заслоняя собой привычный мир, выталкивая его на неведомую обочину. Нет, Жекки не могла вдумываться в смысл происходящего. У нее просто не хватало сил выдержать это наваждение. Ей вдруг невыносимо захотелось, чтобы Федыкин замолчал, исчез. Лишь бы не слышать дребезжащий лязг его голоса. Но Федыкин, сочтя необходимым высказаться по

заданной теме, продолжил, как ни в чем не бывало, тем более, что затекшие конечности перестали его временно беспокоить.

— И я считаю, что выгон, лог, лес — это пустяки. С полсотни десятин у вас так и так останется. А, куда вам больше? Я так, почитай, половины лишусь, да и то, пожалуй что, весь хутор сбуду с рук. При том задорого. Я уже в городе и лавчонку с товарцем себе присмотрел и долю в сырном деле Беркутова смогу выкупить. Да мало ли еще что.

Жекки не верила своим ушам. Неужели Федыкин и впрямь готов вот так запросто продать землю? И как он может говорить об этом спокойно, как будто речь идет о продаже негодных штанов. Да как же он будет жить? Жекки всматривалась в его ссутуленную, но такую крепкую фигуру, в тщательно расчесанную выцветшую бороду, спрятанные от нее полузакрытыми веками слезящиеся глаза, и недоумевала, почему видела в нем какого-то совершенно другого человека. Куда он делся, прежний Федыкин, или это не он, а она спятила сегодня? Сделанное открытие обескураживало. Ибо так же как люди, умеющие легко обходиться без водных запасов, вызывали у нее смутную зависть и смутные подозрения, так и люди, готовые добровольно отказаться от земельной собственности казались выходцами из

потусторонних миров, а отнюдь не живыми нормальными людьми. Долгое время она думала, что Федыкин нормальный человек, а сейчас, слушая его, вынуждена была признать, что он отнюдь не тот опытный аграрий, на которого могла всегда положиться. Доля в сырном деле, видите ли... Ну-ну...

IX

Она несильно, лишь для остротки, подернула вожжами, вынуждая Алкида прибавить шаг. Мельница Егорова уже вырисовывалась за поворотом дороги, и Жекки из последних сил заставила себя подумать о возможных предложениях мельника относительно покупных цен. Федыкин не вполне выговорился, но находил излишним рассыпать на ветер суждения, имевшие, по его мнению, достаточно высокую ценность, чтобы позволить кому бы то ни было пренебречь ими.

На мельницу они въехали молча. Сам Егоров вышел к ним навстречу, приветствуя, важно поклонился. Жекки без интереса выслушала его речь на счет своих восемнадцати пудов, которые привез Филофей, рассеянно оглядела обширный двор. От подвод к воротам мельницы грузчики то и дело перетаскивали тяжелые мешки. Справа и слева

стояли подводы, толпились возчики. Жекки едва кивнула Филофею, почтительно стянувшему перед ней шапку. Она не слышала собственного голоса, произносившего какие-то необходимые слова. В сущности, она так и не доехала до этой мельницы, оставшись на проселочной дороге, ошарашенная и подавленная.

Федыкин, напротив, как всегда деловито распоряжался, возмущаясь тем, что мужики не отвели лошадей под навес. Настаивал на пересчете привезенных мешков, разговаривал с приказчиком Егорова и с самим Егоровым, успевая при этом жестами подавать какие-то знаки своему батраку из Грачей и отмахиваться от вихрей мучной пыли. Кутерьма на мельнице захватила его с головой. Все его занимало, до всего было дело. А Жекки с трудом согласилась на чай в конторе. С неудовольствием выслушала хвастливое описание Егоровым его неустанных трудов на благо «общества». Безрадостно встретила сообщение о том, что «благодарение Богу дела идут неплохо, хотя хлебушка у мужичков не в пример прошлому году, а ить и тот был нескладен». Ей становилось скучнее с каждой минутой. Так и не дотянув разговор до главной темы — покупных цен на зерно, она предоставила Федыкину самому продолжать обсуждение.

Жекки не терпелось остаться одной. Надо

было без суеты, как следует подумать. Прощание с Егоровым вышло скомканным. Сославшись на ожидаемое с часу на час возвращение мужа, которое она, якобы, боялась пропустить, — Аболешев неделю назад отправился в Нижеславль, и сегодня должен был приехать двенадцатичасовым поездом, — она поспешила переложить на Федыкина обязанности главного переговорщика. Сама же, не задерживаясь больше ни на минуту, отправилась восвояси.

Некоторое облегчение она почувствовала только, когда миновала поворот, и дорога, выпрямившись, монотонно потянулась вдаль, по кромке пашни, теряясь почти у самого горизонта за темным лесным выступом. Ясный сухой день перевалил за половину. Было довольно тепло. Матовое солнце неравномерно разбрасывало золотые блики на высокие кроны сосен, выделяя ярко-зеленые пятна, прикрытые глубокими тенями и полностью охватывая стройные розовые стволы, почти до самой макушки лишенные ветвей. Затесавшиеся между сосен ели оставались почти незаметными, зато все лиственные — березы, осины, рябины и клены, ярко облитые солнечными лучами, пестрели всеми оттенками огненного прощального блеска. Порывы ветра приносили на дорогу шуршащие потоки листьев, и от них исходил тот пряный томительный запах, что один

дает почувствовать осень.

Жекки ослабила поводья, позволив Алкиду бежать, как тому вздумается, а гнедой, будто чувствуя настроение хозяйки, незаметно перешел с рыси на шаг. Жекки и впрямь никуда не спешила. По крайней мере, вовсе не собиралась лететь сломя голову навстречу блудному мужу.

Частые отлучки Павла Всеволодовича под довольно сомнительными предложениями давно вызывали у нее ревнивые подозрения, но сейчас нужно было сосредоточиться совсем на другом. При встрече с Аболешевым, если она сочтет нужным, можно поговорить вполне откровенно и разъяснить все недоразумения. А вот как быть с этой нежданно свалившейся бедой, о которой поведал Федыкин? Что станет с Каюшинским лесом, если через него проложат железную дорогу? Ведь тогда от него мало что останется. Деревья вырубят, птицы улетят, зверь разбежится. Куда тогда деваться Поликарпу Матвейчу? А Серый, что станет с ним?

Последний вопрос почему-то пересилил все прочие. Предательский слезный ком, упрямо сдерживаемый уже более часа, подступил-таки к самому горлу и приготовился обернуться потоком неудержимых слез. Вообще-то, Жекки редко плакала, терпеть не могла плакс, и всегда считала слезы чем-то постыдным. Но, если уж они

подбирались к ее глазам, их невозможно было унять. Вот и сейчас, медленно одиноко волочась по пыльному проселку, Жекки позволила себе поддаться маленькой слабости. Она начала шмыгать носом, отрывисто смахивать ползущие по щекам слезинки, оправдывая себя тем, что лучше уж сейчас дать волю нервам, чем потом раскукаться в самом неподходящем месте. Что же тут поделаешь... Слезами, конечно, не поможешь. Да и всегдашние заботы сами по себе не отвяжутся. Завтра возможно, она вместе с Аболешевым отправится в Инск. Там необходимо выяснить, возможна ли отсрочка выплаты по закладной и заодно проверить слухи на счет железной дороги. Если окажется, что Федыкин ничего не придумал, то тогда... Тогда придется сделать кое-что, от чего столичным покупателям придется поумерить свой пыл. Но что же? Что она может сделать? — Жекки проглотила очередную порцию текучей соленой влаги. В носу шумно захлюпало. И тут она словно перевела дыхание. — Как же это сразу не пришло ей в голову! Ведь нужно просто ни за что не продавать свой участок, только и всего. Сказал же Федыкин, будто ее земля располагается «поперек стройки». Вот пусть и лежит поперек, как кость в их паршивом горле.

Жекки вытерла последнюю слезу, обмакнув уголки глаз платком. Высморкалась и вопреки

непрощенным, остаточным спазмам, застрявшим где-то за грудиной, почувствовала себя заметно лучше. Алкид прибавил ходу. Двухолка, подпрыгивая на затвердевших пригорках, словно пушинка полетела вперед.

Напротив старой полусгнившей сосны, сломавшейся во время грозы минувшим летом, начиналась развилка дороги. Правая половина шла на Никольское, а левая углубляясь в поля, выводила к селу Аннинскому. Там, где-то в изгибе круто петляющей колеи, за высоким холмом с одинокой березой на вершине, прятался придорожный кабак. Жекки вспомнила о нем, увидев лежащего ничком прямо на дороге оборванного мужика. Мужик пытался ползти, издавая громкие нечленораздельные звуки. Над ним склонялся, пробуя безуспешно распрямиться во весь рост, другой, всклокоченный, с красными блуждающими глазами. Такие народные типажи попадались здесь довольно часто. Не обращая на них особого внимания, Жекки проехала дальше.

А вот двое, еле плетущихся нищих почему-то надолго задержали ее взгляд. Они шли со стороны Аннинского и подходили к самой развилке, когда Жекки поравнялась с ними. Она отчетливо рассмотрела иссохшее, страшно изъеденное глубокими морщинами лицо старика с бельмами вместо глаз. Его голова, неестественно

запрокинутая и скошенная на бок, казалась обузой для худенького сморщенного тельца, одетого в истлевшие обноски. В правой руке старик сжимал длинный костыль, а левой опирался на босоного мальчика лет десяти. Что-то заставило Жекки остановиться, хотя она, по правде говоря, с детства боялась всяких юродивых, покалеченных, убогих, шатавшихся по деревням в поисках пропитания.

Подъехав к обочине, Жекки придержала коня и подозвала мальчика. Тот подошел к двуколке, стягивая на ходу ветхий картузик. Подойти совсем близко он не решался. Жекки увидела его худенькое прозрачное от голода личико, все усыпанное веснушками, голое тощее плечо, вылезавшее из дырки в грязной истрепанной сермяге, исцарапанные и покрытые цыпками босые ноги. И только большие васильковые глаза, бездонные как само страдание, смотрели с грустью и смирением, выдавая в этом маленьком двуногом зверьке нечто подлинно человеческое. Жекки вытряхнула из кошелька всю мелочь в подставленные горстью ладошки мальчика. «Дай Бог вам здоровья, добрая барыня», — сказал он, поклонившись, и пошел обратно к слепому. Тот тоже поклонился, и снова запрокинул голову кверху. «Спаси Господи», — послышалось ей, когда она уже тронула с места.

«Такие же люди ходили по этим дорогам и

тысячу лет назад, — подумала она, — какие-нибудь проповедующие странники вроде Луки. Ничего не изменилось. Лохмотья, нищета, вера во всесильного Князя». Вспомнив сейчас про легендарного Князя, Жекки даже улыбнулась. Ну, как можно было бояться каких-то дремучих поверий. Голода, конечно, бояться стоит, потому что он расстроит правильное течение дел в ее хозяйстве. И конечно, вопрос гуманности, и все такое... Мужичкам придется что-то отдать, может быть, помочь семенами. Но все это пустяки по сравнению с возможной потерей Каюшинского леса. А она не может, не должна его потерять. Ее решимость, закалившись в слезах, теперь, как казалось, могла одолеть любое сопротивление. Поколебать ее было уже невозможно. Оставалось лишь обдумать подробности и, не мешкая, приступить к исполнению задуманного.

Х

Близость прохладного денника, пропахшего сеном и его собственным потом, все же вынудила Алкида ускорить бег. Дорога подходила к Волчьему Логу, где Жекки как обычно собиралась свернуть на тропу, столь изрядно сокращавшую ее путь до Никольского. Солнце остывало, клонясь на запад. Последние проблески обманчивого тепла

расходились в сплетениях розовых теней, что, сползая в блеклую дорожную пыль скорбного русского проселка, придавали ему сочный тропический румянец. Розовый цвет этих теней, мутно алеющий за верхушками деревьев склон неба и слабые красноватые отблески, падавшие на деревья, напоминали о скорых осенних сумерках, незаметно подступающем мраке, о прощании с чем-то дорогим и недолговечным.

Предзакатный свет бился в глаза, мешая следить за дорогой. Жекки даже зажмурилась, чтобы побороть ослепление, как вдруг за поворотом на Волчий Лог беззвучно ахнула и машинально натянула поводья. Она увидела — и в это было почти невозможно поверить — замерший у самой обочины автомобиль, осевший в глубокой выбоине правым передним колесом и оттого слегка перекосившийся вправо. Одним запыленным бортом он вбирал нависающую тьму еловой чащи, другим, с проступающими сквозь серый налет глянцевыми пятнами, захватывал алые отблески солнца. Его стекла, зеркала, подзолоченная в вечерних лучах латунная отделка радиатора с мерцающей частотой выбрасывали во все стороны разноцветные бриллиантовые брызги, ослепительно вспыхивавшие и почти сразу пропадавшие в тусклой пыли лесного проселка.

Послушный Алкид остановился в десяти

шагах от необычного существа, резко пахнувшего новой резиной, обивочной кожей и еще чем-то особенно неприятным, похожим на керосин. Возможно, это и был керосин. Запах был сильный, дурманящий. Алкид фыркал, нетерпеливо перебирал ногами.

Жекки заворуженно уставилась на явленное ей чудо. Новенький, поблескивающий черным гляncем, автомобиль, застрявший на никольской дороге, был зримым воплощением неостановимого технического прогресса, идущего не по дням, а по часам. Самый воздух окрестных полей, еще недавно казавшийся упоительным, в виду чудесного автомобиля, становился непереносимо затхлым и безжизненным.

Жекки была так очарована, что не сразу обратила внимание на раскрытый капот машины, из-под которого поднимался легкий голубоватый дымок. За поднятой крышкой капота, укрепленной с помощью вертикального стержня, происходило какое-то движение. Высокий мужчина, очевидно автомобилист, что-то усердно перебирал в раскрытом чреве среди металлических внутренностей. Розовый свет, заливавший дорогу, как луч прожектора, то выхватывал играющие под его тонкой рубашкой плечевые мускулы, то ронял светлые блики на склоненный смоляной затылок.

Жекки догадалась, что автомобилист пытается

исправить какие-то неполадки в двигателе. Ах, с каким удовольствием она оказала бы ему любую посильную помощь. Но она ровным счетом ничего не понимала в машинах. Приходилось только молча, гипнотически наблюдать.

Автомобилист все еще не замечал ее присутствия, видимо, не слишком нуждаясь в помощниках. Вскоре голубоватый дымок перестал подниматься над крышкой капота. Фигура водителя распрямилась, капот захлопнулся, и Жекки увидела обращенный на нее быстрый вопрошающий взгляд.

Черные сощуренные глаза сверкнули, молниеносно охватив ее снизу доверху. Обтянутые полупрозрачными чулками голени, выставленные на показ по оплошности из-за слишком поспешно подобранной под сиденье юбки, глубокий вырез жакета, полураскрытые влажные, явно вопрошающие о чем-то губы приковали его внимание на бесконечно долгие секунды. Для Жекки они стали настоящей пыткой. С невероятным трудом ей удалось сдержать возмущение: «Да он... кто он такой, что смеет разглядывать меня, точно ярморочный барышник лошадь?» Само собой, всякие симпатии к автолюбителю немедленно улетучились. Жекки приняла строгий вид, но незнакомец предпочел этого не заметить. Напротив, оскорбительно дерзкое выражение на его лице сменилось

нарочито-насмешливым.

— Добрый день, сударыня, — сказал он приятным грудным голосом. — Вы интересуетесь техническими новинками? — Жекки поспешно одернула юбку и, едва кивнув, вместо ответа бросила на него сердитый взгляд. — Что ж, рекомендую. «Шпиц» или австрийский Ролс-Ройс фирмы «Грэф и Штифт» последней модели. Четырехцилиндровый двигатель мощностью в тридцать две лошадиные силы, может развивать скорость... ну, в переводе на версты, что-то около шестидесяти верст в час. Разумеется, по хорошей дороге. Редкий экземпляр, смею уверить. Такой же точно есть только у эрцгерцога Фердинанда, если вам что-нибудь говорит его имя.

Все еще охваченная смятением, Жекки ничего не ответила. «Чего доброго, он примет меня за здешнюю деревенскую дурочку», — подумалось ей.

Незнакомец выждал приличную и несколько затянутую паузу, но, заметив, что молодая дама в двуколке продолжает безмолвствовать, очевидно, с трудом одолевая потрясение от неожиданного знакомства, прибавил чуть более снисходительным тоном:

— По правде говоря, я и сам не так давно освоился с этой штуковиной. Владение авто требует, знаете ли, ежедневных упражнений, как в боксе, а у меня не всегда находится свободное

время для того и другого. Подчас я даже теряюсь, какое из этих двух занятий мне следует предпочесть.

Говоря, он с медлительной тщательностью вытирал руки о полотняное полотенце, неторопливо раскатывал рукава рубашки, застегивал жилет. Потом, уже прислушиваясь к голосу собеседницы, небрежно потянулся к водительскому сиденью, на которое были брошены пиджак и мягкая фетровая шляпа. Одевание сопровождалось то отточено короткими, то продолжительными, обволакивающими, как речная волна, заинтересованными взглядами, неотступно следящими за Жекки все с той же придирчивой остротой заправского барышника, неожиданно напавшего на нужный товар.

— Сочувствую вам, — наконец выдохнула из себя Жекки. — Вы стоите перед поистине трагическим выбором.

Незнакомец невозмутимо, словно не расслышав иронии в ее словах, оправил галстук. Костюм сидел на нем идеально.

— Поистине, я никак не рассчитывал встретить в здешних лесах столь смелое и очаровательное создание. Вы всегда ездите одна по этой дороге?

«Смеет передразнивать, да еще намекает на что-то... Собственно, что он хочет сказать?» Сами

по себе его слова мало что значили. Значение имела лишь та отвратительная самодовольная манера, с которой он их произносил и с которой вообще позволял себе держаться. Именно эта завуалированная издевательская беззастенчивость выводила Жекки из равновесия. В сущности говоря, с подобным типом наглеца она сталкивалась впервые.

— А вы, я полагаю, совершаете автопробег Париж — Осьмушки? Мечтаете попасть в газеты? — спросила она, довольная своей нечаянной колкостью.

Он едва усмехнулся.

— Боже сохрани. Нет, это обычная деловая поездка. Я собираюсь купить кое-что в этих краях.

Смысл его слов не дошел до Жекки. Ей почему-то захотелось поскорее вернуться домой, упасть в объятия Аболешева, вывалить на него всю накопившуюся за день усталость. Говоривший с ней человек был ей неприятен. Его дерзость требовала немедленного ответа, а она была слишком утомлена, чтобы бросаться с отповедью после каждой его реплики. Но и принять его поведение без должного отпора не могла. Вот и получалось, что лучшим выходом было пожелать хозяину австрийского ролс-ройса счастливого пути.

— Послушайте, нет ли у вас с собой фляги с водой? — неожиданно спросил он, обнаружив, что

его последнее замечание не получило никакого отклика. — Я был бы вам крайне признателен, если б вы не отказали бедному путешественнику в такой малости, как кружка воды. Мне не хочется сворачивать в деревни из-за всякой ерунды. И, говоря откровенно, мое появление вызывает у местного населения панику.

Жекки с неохотой достала жестяную баклажку, в которой булькала невыпитая вода и протянула ее незнакомцу. Он неторопливо подошел к ней, застегивая на ходу пиджак. «Все-таки не совсем хам», — подумала Жекки, и невольно, глядя на него, отметила его на редкость правильное мускулистое сложение, гибкие движения, гордую посадку головы и безусловную мужскую красоту замкнутого лица с тонкими прямыми чертами, самоуверенным выражением черных глаз и насмешливым изгибом плотно сжатых губ под тщательно выбритой черной ниточкой усов.

— Полагаю, этого хватит, — сказала она, передавая ему баклажку.

Он принял ее молча. Не спеша, открутил пробку и сделал несколько жадных глотков. Когда он стоял вот так близко, ухватившись одной рукой за боковую скобу двуколки, Жекки с удивлением поймала себя на, казалось бы, давно позабытых ощущениях детской робости и девического смущения. Последнее угнетало особенно в силу

явного преобладания. Она чувствовала всем существом, как от этого человека исходит неподдельная мощь, скрывающая в себе пока не явную угрозу. Его сила отталкивала и одновременно манила, как манит всякого смелого человека ощущение опасности, необходимость смертельного риска или предчувствие схватки с заклтым врагом. «Неужели я встретила врага?» — подумала Жекки, когда незнакомец, возвращая, протянул ей совершенно пустую баклажку.

— Благодарю вас. Вы спасли меня от жестокой смерти. — В его словах, не смотря на теплые нотки, опять прозвучала издевка. — Между прочим, в Полинезии по обычаю тамошних племен, юноша обязан отплатить девушке, напоившей его, совершенно определенным образом.

Автолюбитель не стал уточнять, каким, потому что Жекки и без того залилась обличающей краской. Она на чем свет кляла свою дурацкую способность краснеть из-за всяких пустяков, и уже жалела, что пожертвовала столь наглomu типу всю свою драгоценную воду.

— Слава Богу, мы не в Полинезии, — отрезала она, берясь за вожжи.

— Я уже понял, что вы замужем, но не могли я хотя бы узнать...

Да, он просто сумасшедший, если думает, что с ней можно заводить роман прямо посреди дороги.

Мало того — он рассмотрел обручальное кольцо на ее руке, и это его ничуть не смутило. Хорош гусь, нечего сказать!

Незнакомец продолжал нагло улыбаться. Похоже, дорожное знакомство развлекало его. Но словно почувствовав, что Жекки вот-вот взорвется, автолюбитель неожиданно резко переменял тон.

— Прошу меня извинить, если я нечаянно вас обидел, — произнес он с почтением, в котором трудно было заподозрить неискренность. — Я вовсе не имел намерения задеть ваши чувства.

И как бы в подтверждение этих слов, взял не успевшую опомниться Жекки за руку и поцеловал незащищенное лайкой перчатки узкое запястье долгим обжигающим поцелуем. У Жекки что-то сладостно и больно екнуло в груди, и она опять почувствовала себя смущенной, потерянной и почему-то страшно польщенной. От его блестящих, черных, как смоль волос, веяло дорогим английским одеколоном, перебивавшим ввевшийся в одежду запах бензина. Его устрашающе сильная рука сжимала ее руку с невесомой легкостью, а обезоруживающая белозубая улыбка отводила в небытие все низкие подозрения, если таковые еще могли существовать в отношении столь обаятельного и любезного молодого человека, каковым был он — мужественный водитель автомобиля марки «Грэф и Штифт» с двигателем

мощностью в тридцать две лошадиные силы.

Жекки уже была готова простить его, вероятно, невольные, случайные, совсем чуточку странные отклонения в поведении и уже собралась со всем подобающим достоинством сообщить ему о своей невольной ошибке, как ее глаза странным образом остановились на одной неподвижной точке, мгновенно наполнившись не то слезной пеленой, не то растекающейся из глубины зрачков слепящей радужной мглой. Она увидела кольцо... Это было какое-то чудовищное заклятье... Такое же кольцо с... на мизинце левой руки, ухватившейся за край двуколки, она увидела кольцо с мерцающим черным камнем, и в ее сознании закружились недавно прозвучавшие где-то слова, измятое лицо Матвеича, его опустошенные глаза, устремленные в неведомую пропасть, опять слова, неизбытая боль, тяжесть непрощенной обиды, натруженные пальцы, сжимающие штанину над коленкой и опять слова: «... Грег, как все его называли». Жекки овладел такой дикий испуг, что незнакомец, заметив перемену на ее лице, перестал улыбаться.

— Что случилось? — спросил он удивленно. — Я вас ужалил?

Если бы... Жекки не могла говорить. Она неопределенно кивнула, встряхнула вожжами и, причмокнув, приказала Алкиду не своим голосом: «Но, пошел!» Это значило лететь стремглав изо

всех сил, во все четыре копыта, пока наглый автомобилист не вздумал ее догонять на своем шикарном грэфе энд штифте.

Конь рванул с места. Двуколка подпрыгнула на кочке и понеслась, оставляя позади густые клубы пыли. Жекки было совершенно все равно, что Грег о ней подумает, что станет рассказывать об их встрече каким-нибудь своим мерзавцам-приятелям, и будет ли смеяться втихомолку, вспоминая о странностях инских барынь. Ее не волновали, не могли больше волновать его впечатления. Она узнала его, и ее испуг был сродни ужасу дикого зверя перед внезапно вспыхнувшим охотничьим факелом. Жекки бежала от него как затравленная лань. Она боялась погони, но ее никто не преследовал.

XI

«По-моему, для одного дня потрясений вполне достаточно, — решила Жекки, когда двуколка уже неслась по подъездной кленовой аллее, и в просвете между деревьями показались белые колонны ее фамильного дома.

— По крайней мере, здесь я не встречу оборотней и не услышу про грядущее светопреставление».

Дом, показавшийся из-за раскидистых

медно-багровых кленов, отстроенный прадедом Жекки Павлом Николаевичем Ельчаниновым еще в начале прошлого века, сразу после изгнания наполеоновской армии на месте предыдущего, деревянного, впоследствии был достроен и расширен при ее двоюродном деде — Алексее Павловиче. Тогда же он приобрел свой окончательный вид, мало изменившийся по сию пору. Каменный, двухэтажный, покрытый белой штукатуркой, с невысокой мансардой под железной крышей, с четырьмя фасадными колоннами и геометрическим лепным орнаментом по периметру фронтонов, он являл собой образец типичной усадебной постройки, выполненной в классическом стиле.

Внешняя прохладца его физиономии мало кого могла ввести в заблуждение. Все в облике этого дома говорило о его покладистом, веселом, гостеприимном характере. От приветливого света, льющегося из окон-очей, до задиристо высунутой над кровлей широкой каминной трубы. От прохладного сумрака прихожей до уютного покоя ореховой библиотеки. От гостиной, переполненной воспоминаниями, теснящимися в ней точно отзвуки давно позабытых мелодий, запертых в старомодной музыкальной шкатулке, до зазывно раскрытой, вкусной и пухлой, как сдобная булка, белостенной столовой. Каждому было внятно обаяние старого

Никольского — благодушное обаяние старой семейной крепости, повидавшей всякого на долгом веку, но сумевшей сохранить за античной строгостью стен живой неунывающий дух своих потомственных хозяев — Ельчаниновых.

Душой и кровью принадлежа этому роду, Жекки знала свой дом, еще не успев родиться, а, родившись, начала не знакомиться с ним, но узнавать как давно ей известное, обжитое, устроенное, свое. Старинные темные портреты с паутинками потрескавшегося лака, развешанные в гостиной. Скрипы паркетных половиц и дверных петель, звучавшие как голоса каждой комнаты, по-особому. Сладкие запахи, живущие в чулане, запретном для детей, и горьковато-терпкие, отдающие апельсиновой коркой, обитающие в буфете, поначалу тоже запретном.

Заклученная под стекло старинная, напечатанная на серовато-розовой толстой бумаге, грамота с рисунком дворянского герба и простым безыскусным описанием: «Щит разделен перпендикулярно на четыре части, из коих в первом в зеленом поле изображена куча Ядр...» Жекки очень нравилось, что именно куча и именно Ядр с прописной буквы. «... а по сторонам оной видны три серебряные шестиугольные Звезды...» Звезды в их гербе должны были быть непременно. Жекки это чувствовала без объяснений. И именно серебряные,

чистые и светлые, восходящие на заре, как утренняя богиня Аврора, потому что только такие Звезды могли освещать со своей незапятнанной высоты земной путь порученных им скитальцев. Кажется, это тоже слишком понятно, чтобы требовать какого-то разъяснения.

А вот и дальше: «Во второй в золотом поле и в четвертом в зеленом поле поставлена Ель (опять с прописной буквы), имеющая вершину естественного цвета, а корень золотой... «Ах, как это славно, что корень золотой, и как чудесно это самое прекрасное на свете сочетание красок — золотой и зеленой. Золото с зеленью сплавлялись в самом звучании. И Жекки чудилось в этом, как и в каждом сочетании слов, составляющих будто бы обычное геральдическое описание, нечто глубокомысленное, имеющее высокий и таинственный смысл. И она узнавала этот смысл, данный ей свыше. В нем заключалась память ее рода, ее собственной, бесконечной во времени души.

Вчитываясь в заключительные строки кодовой записи, она находила в глубинах своего «я», подавленные временем, но пощаженные бесконечностью, спрятанные в себе расшифровки: «В третьей части в голубом поле видна выходящая из облак Рука в серебряных Латах с поднятым вверх Мечем». Конечно, эта небесная охраняющая длань

их Ангела, небесного покровителя Рода. Ангел в серебряных латах, бессмертно-прекрасный воин, призванный защищать — самый драгоценный символ мужественности, усвоенный Жекки с раннего детства, пришедший к ней вместе с красочным рисунком под стеклом на стене отцовского кабинета.

Ангел, мужество и отец связались одной неразрывной связью в этой старинной грамоте, в этом кожаном и книжном кабинете, где даже в пасмурные дни было всегда светло, и где осушались даже самые горькие слезы. Туда, в это неиссякающее средоточие ясного света и невозмутимого спокойствия, нужно было бежать, чтобы выплакаться после незаслуженной тройки по математике в годовом табеле, неполученного в наказание за дурное поведение билета в театр, после всех более ранних полумладенческих ссадин и кровоточащих ушибов. Там было основание крепости, ее несокрушимый оплот, воздвигнутый для защиты от всех на свете напастей.

А еще были голубые тени в скованных морозом стеклах и легчайшая кисея, развевающаяся над тем же окном на полуденном июльском сквозняке, лаковый гладкий блеск опущенной крышки рояля, отражающий прозрачную банку с бело-голубыми цветами, шершавый и пыльный, уподобленный театральному занавесу,

прабабушкин гобелен, изображающий охоту французского короля на лань, для чего-то оставленный в спальне, — вот они, отголоски того узнавания, всплески родовой памяти, углубленные остротой собственных переживаний, узаконенные по праву подлинности личного опыта.

Жекки всегда подсознательно боялась расстаться с ним, своим, неотъемлемым. Особенно переживала в связи с неизбежным, как она знала тоже чуть ли не с младенчества, неизбежным замужеством. Когда же выяснилось, что имение Аболешева, расположенное в ста двадцати верстах от Инска, совершенно расстроено, а в городе он не может жить по «слабости здоровья», Жекки приняла, как незаслуженный подарок судьбы спокойную готовность мужа поселиться в ее родовом гнезде. Никольское перешло к ней в нераздельную собственность в виде приданого. И это был еще один, в сущности, незаслуженный дар — дар отца, дар ее старинного рода.

Поначалу она даже приняла согласие Аболешева жить в деревне как жертву, поскольку не мог же он, в самом деле, безропотно отказаться от привычного ему столичного комфорта или от роли полноправного помещика. Но Аболешеву, как оказалось, было не в тягость исполнение совсем другой, мало принятой в их кругу роли.

Нельзя сказать, чтоб он ограничивался

пассивным наблюдением за хозяйственной активностью жены. Он уступил ей, конечно, прежде всего, под давлением собственной бытовой апатии. С другой стороны, потому, что понимал всю благотворность подобной уступки для Жекки. И все же, что бы она ни делала, ей не приходилось сомневаться — Аболешев внимательно наблюдает за ней и при необходимости готов вмешаться, если посчитает, что она зашла слишком далеко.

Такого рода вмешательство происходило всего пару раз за пять лет их совместной жизни, и оба раза благодаря ему предотвращались большие неприятности. Аболешев был для Жекки подлинным, высшим арбитром, как в мелочах, так и в чем-то существенно важном. И всегда, как и теперь, он с неизменной заинтересованностью выслушивал ее жалобы, утешал, советовал, с готовностью отдавал ей те небольшие деньги, что получал за свое перезаложенное Поречье. Жекки могла ими пользоваться, как своими. Только вот для недоверчивых соседей все ее рассказы об участии Павла Всеволодовича в управлении имением проходили мимо ушей. Видимость была намного красноречивей, а выглядело все так, будто Аболешев всецело предоставил хозяйственные заботы своей юной эмансипированной жене.

Оставив Алкида на попечение конюха Дорофеева, Жекки вошла в дом. Что-то похожее на

долгожданное облегчение охватило ее, как только она переступила высокий порог и вдохнула спертый воздух прихожей. Из столовой навстречу вышла горничная Павлина, полная, широкоскулая, смешливая девушка, нанятая в Инске.

— Слава Богу, барыня приехали — поприветствовала она.

— Что Павел Всеволодович? — спросила Жекки, быстро снимая на ходу шляпку и расстегивая жакет.

— Да уж с час как дома. Сейчас у себя в кабинете.

— Обедал?

— Им что-то нездоровится. Опять, как в запрошлый раз. И господин Еханс при них неотлучно. Господином Ехансом (правильно было Йоханс) Павлина называла бессменного камердинера Аболешева, выехавшего вместе с ним из Дании, где Аболешев в молодости служил при русском посольстве.

Жекки нахмурилась, поджала губы. Опять. Можно было догадаться, ничего нового. И все-таки, как защемило сердце. То, о чем упомянула Павлина, было самым тяжелым, самым мучительным, самым скрываемым обстоятельством ее брака с Аболешевым. То, что наряду с постоянными многодневным отлучками Павла Всеволодовича превращало этот брак в пустую

формальность.

XII

Первые странности начались сразу же после свадьбы. Жекки и сейчас боялась невольно вскрикнуть от приближения той, самой захватывающей, самой непереносимой картины, сохранившейся в ее памяти. В полутьме роскошной спальни лучшего номера петербургского «Метрополя», дрожа от предстоящего неизбежного и волнующего волшебства первой близости, она не может найти себе места. Подходит к окну, отодвигает краешек штор, вглядываясь в холодную пасмурную ночь. Возвращается к зеркалу трюмо — в нем почти та же ночь, разбавленная едва уловимыми очертаниями ее белеющей фигуры. Отходит к кровати, пробует сидеть, но ноющее в груди волнение опять поднимает ее с места и гонит блуждать по комнате.

Он не идет. Как ни прислушивается она к малейшему шороху за дверью, как ни пытается утишить чугунные удары сердца, чей мерный гул отдается в ушах подобно перекатному эху от боя огромного колокола, как ни пересчитывает шаги от окна до двери и обратно — ничего не помогает. Его нет, и ее волнение, неудержимо нарастая, как снежный ком, вот-вот перельется через край

потоком захлебывающихся отчаянных слез. И вот она падает ничком в атласную роскошь постели, вдавливаясь всем телом как можно глубже в это мягкое, гладкое, дорогое, что должно было принять ее как-то иначе, а приняло вот так, на грани слезного взрыва. И тут ей слышатся запоздалые шаги за спиной. Каким невероятным образом она пропустила его приближение?

Может быть, она потеряла сознание на несколько секунд? может быть, уснула? Трудно объяснить. Она запомнила только короткий миг, когда в полутьме вспыхнул отблеск уличного фонаря, пробившего завесу штор и озарившего знакомую фигуру, склоненную голову, тонкие черты любимого лица. Его первое оглушающее «извини». Потом: «Я должен был решить кое-что... но ведь ты ждала, значит, и я не мог иначе». Почему он это сказал? Что это значило? Что он имел в виду? Жекки ни тогда, ни теперь не знала ответа. Она услышала его голос, почувствовала, наконец, его объятья, и подступившее было слезное изнеможение отошло прочь.

И вот эта почти что радость, почти что счастливое полуминутное забытье вывихнулось страшной раздирающей нечеловеческой болью. Скорее всего, она кричала, но не слышала себя. К тому же, он как мог, душил ее непрерывным убийственным поцелуем. Боль тоже казалась ей

непрерывной. Как угодивший в яму зверь, бросающийся в бесплодных попытках спастись на отвесные стены, она изо всех сил пыталась вырваться, но то, что владело ей, уже не могло ее оставить. Боль обернулась клубящимся багрово-кровавым мраком, слившись с ним в нечто единое, убивающее все способности чувств, кроме чувства неутолимой багровой боли. И всего один раз, на долю секунды из этого багровеющего болью мрака вырвалось как будто при свете того же уличного фонаря знакомое тонкое лицо совсем с чужими, страшными глазами. Блеснувший в них красноватый огонь пронзил ее, но она уже не смогла испугаться.

Когда она очнулась, сквозь шторы пробивался слабый утренний свет. Аболешева рядом не было. Не было ничего, ни боли, ни мрака, ни страха — одна лишь поглотившая все пустота, пустота изнеможения. Неужели так будет всегда? Неужели так и должно быть? Неужели я буду это терпеть? Задав себе последний вопрос, Жекки немедленно ответила на него решительно и бесповоротно: «Ни за что. Сегодня же скажу ему прямо, пусть знает...»

Аболешев встретил ее перед завтраком. Он был взволнован, но умело это скрывал. Как ни старалась, она не могла объяснить выражения его лица. Чего в нем было больше жалости или вины? Что он пробовал донести через скованный поцелуй,

через пожатие руки, через мягкое, ласкающее объятие? Аболешев долго не решался заговорить, обуздывая какой-то властный внутренний позыв. Тогда она поняла, что ни за что на свете не сможет сказать ему то, что хотела. «По крайней мере не теперь, не в эту минуту».

А потом, в шуме и суете дня, скучной чередой поздравительных визитов, среди неизбежного сумбура встреч и необязательных разговоров, острота испытанного потрясения постепенно угасла, ушла куда-то глубоко, в потемки души. Лишь с приближением вечера на нее навалилась мрачная тоска ожидания. Хотелось сбежать куда-нибудь далеко-далеко, только бы не видеть сгущающихся за окном сумерек. Аболешев весь вечер не отпускал ее от себя, и только когда они снова остались вдвоем, сказал, отрывая от себя каждое слово с таким усилием, точно они были прикованы к его языку: «Жекки... я знаю, я виноват перед тобой. Не в том, в чем ты могла бы упрекнуть меня утром или, может быть, попытаешься обвинить сейчас. Я виноват в другом, более важном, о чем не имеет смысла сейчас говорить. Ты к этому не готова. Нет, прошу, не возражай, а просто послушай. Ты не готова и не поймешь. Но ты не должна меня бояться, Жекки. Этого больше не будет. Даю тебе слово. И еще. Чтобы потом ни случилось, чтобы тебе не пришлось узнать обо мне,

я хочу, чтобы ты знала — в этом мире я люблю только тебя. Слышишь, Жекки, только тебя!»

Да, кажется, она слышала. От его слов так знакомо веяло мягкой прохладой, нарастающей в тишине нежностью, привычной неизменностью всего, что их окружало. Вместе со звуками его голоса давящее ожидание незаметно сходило на нет. Возвращалось радостное забытие влюбленной девочки, все прощающей и еще не способной вдуматься в глубокий смысл собственных переживаний. Был только один вопрос, как-то неосторожно вырвавшийся у него напоследок, вопрос, заставивший ее вздрогнуть: «Скажи, ты что-нибудь видела?» Он имел в виду, разумеется, прошлую ночь. Она приоткрыла губы, но замотала головой, отрицая собственные воспоминания. Аболешев отвернулся. От нее он не хотел принять даже невинную ложь. Но, избегая правды, Жекки обманывала прежде всего себя. Аболешев ушел в соседнюю комнату, пожелав ей спокойной ночи. Она слышала, как в замке его двери повернулся ключ.

Затем пошли дни и месяцы, очень похожие по ощущениям на безмятежное счастье двух влюбленных. Очень похожие, и все-таки каждый из них знал подноготную этого счастья, вкрадчивую червоточину, по капельке выделявшую свой скромный яд. Яд сочился подспудно, и подспудно

что-то стало шаг за шагом меняться в невидимой ткани, связавшей их судьбы.

XIII

Через десять месяцев после свадьбы, путешествуя по Италии, они поселились на окраине старинного приморского городка, сняв небольшую виллу с садом. Жекки влюбилась в эту страну с первого взгляда, немножко сожалея впоследствии лишь о том, что лучшие, счастливейшие дни ее жизни подарила не Россия, а далекая прекрасная земля, безвозвратно забравшая себе кусочек ее сердца.

Она могла целыми днями, изнывая от зноя, блуждать по узким мощеным улочкам. Пить воду из городских фонтанчиков или красное вино, которое продавали уличные торговцы. Вчитываться в латинские надписи под статуями святых, выставленных под сводами тенистых базилик. Покупать виноград, наваленный влажными рассыпчатыми гроздьями в плетеных корзинах. Пробовать какой-то знаменитый сыр в лавке, пахнувшей кислым молоком. Наблюдать за жизнерадостной теснотой улиц, вглядываясь в разнообразие снующей пестрой толпы. И особенно долго и вдохновенно могла бродить по берегу моря, вбирая в себя далекий блуждающий простор,

смешанный с бездонно сияющей небесной лазурью. Эту несказанную свежую синь ей хотелось пить как вино, опьяняясь без всякой меры. И, кажется, именно тогда, Жекки поняла, как обострены у нее все ее чувствительные способности, что, по большому счету, она и любит, и понимает только такой мир, дающийся в цветах, звуках, вкусовых оттенках, в отмирании и обретении осязательных нот. И чем полновочудней сияли вокруг краски, чем многограннее переливались звуки, тем полней билась в ней жизнь, тем большую вовлеченность в эту жизнь она ощущала.

Аболешев тоже по-своему любил Италию и вначале, точно так же как Жекки, неумоимо посещал вместе с ней все достопримечательности. Гулял по городу, кормил ее виноградом, катал на коротконогом несчастном ослике. Подолгу бродил вместе с ней вдоль берега, рассказывая при этом самые невероятные и остроумные истории, какие Жекки когда-либо приходилось слышать.

С ним никогда не было скучно. Он мог бы часами рассуждать об архитектурных особенностях какой-нибудь старинной сельской церквушки, к которой они подбирались в своих неспешных прогулках. О том, почему позднее средневековье так отчетливо запечатлелось в ее выбеленных временем стенах, раздробленном свете, бьющемся сквозь узкие витражи ее окон, и почему дух

какого-нибудь четырнадцатого века до сих пор так упорно живет в прохладном сумраке под глубокими сводами, расписанными полустертymi фресками. Но, замечая быстро потухающий интерес в глазах Жекки, он обрывал себя на полуслове. Он слишком хорошо знал, что Жекки гораздо легче увлечь какой-нибудь совсем недавней историей, хотя бы и вычитанной в газетах. Поэтому торопился рассказать уморительный, но, по-видимому, мало ему интересный анекдот. Жекки смеялась.

Она и с гордостью, и с некоторой завистью думала, до чего же он умен, и как неподражаемо обаятельно в нем прискорбное для большинства людей сочетание многих знаний со многими печальями. Возможно, потому что те, и другие принимались им с одинаковой благожелательностью. Его эрудиция подчас даже пугала, казалась невозможной, и что особенно удивляло — сковывала самого Аболешева. Он словно бы стеснялся ее. Как-то заметив у него книгу на незнакомом языке, Жекки спросила, что это. Аболешев несколько потупился и нехотя сообщил: «Камознс. Представляешь, нашел здесь в оригинале». Жекки испытала страшную неловкость, потому что понятия не имела, каким, собственно, должен быть оригинал. Библию Павел Всеволодович читал на древнееврейском, Тацита по-латыни. С местными говорил на прекрасном

итальянском. По утрам с интересом пролистывал «Таймс», а французский, который Жекки немного знала, употреблял свободно и без стеснения, как вполне узаконенное в их кругу дополнение к русскому. Сколько на самом деле он знал языков, сколько всего успел прочитать, увидеть, услышать и передумать, Жекки могла лишь догадываться, поскольку Аболешев никогда не распространялся на сей счет. Его катастрофическая образованность давала себя знать лишь исподволь, разоблачая себя ненароком.

С того самого дня, как еще задолго до женитьбы он вышел в отставку, Аболешев ничем особенно не занимался, и это его нимало не смущало, в отличие от Жекки, воспитанной на примерах беспорочной службы многочисленных родственников. Напротив, Аболешев вполне определенно считал сложившееся положение вещей самым естественным, а доведенную до ступеней высокого искусства праздность называл почетным бременем всякого благородного человека. Разносимое им при этом полное неприятие окружающего было бы, пожалуй, невыносимо, если бы не смягчавшая его барственная лень и показная беззаботность.

Он никогда не избегал общества с намерением, но и не любил бывать в нем, словно заранее зная, что от его присутствия у людей не

прибавится приятных эмоций. И при всем при том, вокруг Аболешева вечно вились какие-то человеческие вихри, словно бы их манило нечто более сильное, чем простое любопытство или уважение. И всегда и всюду эти вихри разрывались резкими порывами вдруг вспыхивающей ненависти или страха, притом, что Аболешев никогда не позволял себе никаких вызывающих поступков, не говоря о прямых оскорблениях — все вульгарное претило ему.

Да, Жекки, к собственному сожалению, всегда чувствовала вполне отчетливо — ее муж вызывал вместе с завораживающим интересом к себе какую-то непонятную боязнь, какое-то необъяснимое произвольное отталкивание. Он никому не позволял приблизиться.

Со временем она должна была признаться, что Аболешев вообще с трудом переносит общество себе подобных. Что за его безупречными манерами и ледяной учтивостью всегда скрывается недвусмысленное презрение ко всему и вся, или вернее — какая-то безотчетная нервная брезгливость, не различающая людей, лиц и званий. Исключением в их ряду была, разумеется, она, Жекки. И, возможно, еще один — два человека. Не более. Жекки не раз ловила себя на безутешной мысли, что и к самому себе Аболешев едва ли более терпим, чем ко всем прочим, не попадающим в

разряд исключений. И это смутное сознание открытого ей, но неизвестного, как казалось, другим нравственного недуга Аболешева, мешало ей чувствовать себя с ним раскованно. Кроме того, ее постоянно отягощали опасения, что люди, поняв его, отвернутся от них обоих, а этого ей совсем не хотелось. Независимо от своего отношения к окружающим, Жекки постоянно нуждалась в людях, безотчетно приемля и даже любя их в зависимости от обстоятельств, то непроизвольной, чистой, то корыстной любовью.

Аболешев же, судя по всему, вообще не нуждался в социальной среде. Человеческое стадо было ему отвратительно. Все обыденное терзало. Неизбежная сопричастность к себе подобным отзывалась почти физической болью. Безжалостность внутреннего страдания сводила на нет любые попытки примирения с внешним окружением. Вынужденный компромисс тяготил так же, как явное поражение. «Теплые помои бытия, — как он однажды обмолвился, — могут быть по вкусу разве что отбросам». Жекки передернуло от этой фразы, которую Аболешев бросил посреди какого-то затянувшегося философского спора с двумя русскими политическими эмигрантами. Причем сказано это было как всегда, будто бы ненароком, а потому оставило по себе впечатление мрачного откровения,

глубоко засев в ее памяти. В другой раз он сказал тоже нечто, отлетевшее словно ошметок от его потаенной, но, по-видимому, не разрывной с ним, мысли: «Монстрики Босха — вот что такое ваши люди». Жекки не помнила в точности, кто такой Босх, но слово «монстрики» было ей вполне понятно, тем более что оно очень хорошо вписывалось во все ее предыдущие представления о взглядах Аболешева. Тогда на нее чуть ли не впервые за всю ее жизнь повеяло такой жестокой, неустранимой тоской, которой она прежде не знала и даже не предполагала, что нечто подобное может существовать внутри внешне вроде бы совершенно благополучного человека. В нем и вообще было очень мало бытового, житейского. И при всем при том, ни в ком другом Жекки не находила такого полного, такого законченного воплощения лучших из возможных человеческих, в особенности мужских, качеств.

Ей навсегда запомнилось, как однажды под вечер, еще до отъезда за границу, они вместе возвращались через Никольское в усадьбу и случайно стали свидетелям вполне обыденной сцены: полупьяный краснорожий мужик хлестал вожжами свою беременную жену, выбежавшую прямо на улицу, вероятно, в последней надежде найти защиту среди людей. Но около десятка деревенских свидетелей — баб и мужиков — с

полным безучастием, а то и с молчаливым одобрением, вслушивались в ругань озверевшего мужика и безропотно наблюдали за корчами его беспомощной жертвы — растрепанной худой женщины.

Аболешев шел, одной рукой поддерживая Жекки, а другой — как всегда опираясь на гибкий и прочный стек с посеребренной плоской рукоятью. Жекки не успела опомниться, как стек пронзительно засвистел в его руке. Лицо мужика залила кровь. Аболешев задыхался и наносил удар за ударом, не в силах остановиться. Жекки и подбежавший староста Филофей едва сумели его оттащить. Никогда после Жекки не видела мужа таким не похожим на себя, таким настоящим.

Даже для нее, умевшей чувствовать его без слов, он оставался не разгаданным, не до конца объяснимым. Несколько лет, прожитых с ним, так и не научили Жекки быть готовой к тому, что в любую минуту он мог предстать совершенно не тем, кем она его до сих пор знала. Да и вообще, знала ли она его? Всем остальным он должен был казаться просто чужим, закрытым со всех сторон непроницаемой стеной и одновременно неодолимо притягательным, манящим и жестоко отталкивающим при всяком неумеренном приближении.

По вечерам, когда у них собирались

какие-нибудь немногочисленные гости, заезжие русские или местные знакомцы-аборигены, он часто и подолгу играл на фортепьяно — занятие, внешне, казалось, несколько разнообразившее его «благородную праздность», но на самом деле заключающее в себе нечто большее, чем просто досуг, разделенный с друзьями. Потому что больше всего он любил играть в одиночестве. Жекки об этом знала, не понимая, однако, какая тайная причина побуждает его к столь необычному препровождению времени. Зачем избегать слушателей, ведь всем давно известно, какой он виртуоз? «Павел Всеволодович, по всей видимости, боится быть правильно понятым», — сострил однажды в Никольском отец, проводив взглядом Аболешева, когда тот при его появлении внезапно поднялся из-за рояля, оборвав мелодию на полуфразе. А Жекки еще подумала: «Что это им вздумалось играть в кошки-мышки?»

Потом ничего похожего уже не повторялось. То ли Аболешев сделался бесстрастнее за игрой, то ли среди его слушателей больше не попадалось столь же чутких, как отец Жекки. И все же, музицирование и одиночество по отдельности были ему по-прежнему не свойственны. Скорее — вынуждены или случайны, а, воссоединившись, составляли нечто настолько цельное и неразрывное, что Жекки предпочитала ничем не нарушать этого

единства.

Никогда прежде, до поездки в Италию, и тем более — до замужества, ей не приходилось слышать сразу так много музыки, его музыки — Аболешев все время импровизировал. Казалось, музыка сама своевольно выливается из него, выплескивая всю его подноготную. Только музыка позволяла ему быть откровенным. Жекки смутно чувствовала это, видя, как проясняется за игрой его бледное лицо, каким сиянием тогда обнимают все вокруг его аквамариновые глаза — глубокие глаза, цвета холодного моря. Нет, никто из известных ей людей не понимал музыку так, как Аболешев, и никому она не была так необходима, почти физически, как ему.

XIV

И вот, к концу второй недели их жизни на приморской вилле что-то стало меняться. Аболешев, как показалось Жекки вначале, просто вздумал хандрить. Ему становилось лень каждый день выбираться в город или кататься по живописным окрестностям. Он все чаще предпочитал оставаться на вилле, позволяя Жекки развлекаться по своему усмотрению. Вечерами они все реже, и реже выбирались куда-нибудь вместе. На Жекки, переполненную всевозможными

неутоленными желаниями, сгорающую от нетерпения увидеть как можно больше нового, необъяснимая апатия Аболешева наводила уныние.

Ему были скучны восторженные рассказы Жекки с описаниями италийских красот. Его заранее утомляли длинные, да и любые другие прогулки. Ему больше не нравилась здешняя еда, состоявшая в основном из макарон, овощей и рыбы. Итальянцы казались ему теперь чересчур многословными. Всем вариантам знакомств он предпочитал общество своего камердинера Йоханса — этого белобрысого истукана, ценного уже тем, что от него нельзя было добиться и двух слов за день. Аболешев часами просиживал на террасе, увитой виноградом. Или спал, или делал вид, что спит у себя в комнате, если на террасе становилось жарко. Ни книги, ни даже музыка не могли его больше развлечь.

Жекки со смешанным чувством недоумения и тревоги видела, как Йоханс стал в одно и то же время подавать Аболешеву какие-то порошки, прописанные знакомым немецким доктором. Красное подогретое вино сделалось необходимым напитком Аболешева. Павла Всеволодовича стало постоянно знобить вечерами, несмотря на неостывающий жар на улице, и поэтому приходилось подтапливать камин в его комнате. И при всем при этом он с каждым днем становился

все слабее и безразличнее к окружающему.

Доктор, которого по настоянию Жекки привез из города Йоханс, покачал головой и одобрил прием ранее прописанного не им лекарства. Аболешеву ничего не помогало. Он сидел или лежал, неподвижный, безвольный, с застывшим выражением на бледном лице. У Жекки брызнули слезы, когда она случайно увидела, как Йоханс поднял свесившуюся руку Аболешева и уложил ее на место, поверх теплого пледа. Сам Аболешев уже не мог совершить столь утомительное телодвижение. Жекки перестала надолго покидать виллу. Ее больше не влекли итальянские виды, не занимал горьковато-терпкий вкус местного вина и катанье на ослике. Все ее помыслы незаметно сошлись на болезни Аболешева. Она вынужденно оставалась с ним, хотя он и предлагал ей ни в чем не менять своих привычек. При взгляде на нее лицо Аболешева едва уловимо оживало примерно, как от подогретого вина, но это оживление было слишком непродолжительным. Слова, обращенные к Жекки, звучали со всей возможной нежностью, на какую вообще был способен угасающий не по дням, а по часам человек. Но и для произнесения слов Аболешеву требовалось все больше, и больше усилий.

Жекки украдкой плакала, не понимая, как ей быть и что происходит. Ее удивило, что Йоханс по

мере развития болезни Аболешева, становился по отношению к ней как-то суше и раздражительней, и подчас ей казалось, что он просто переполнен неприязнью к ней, как будто это она причина болезни его обожаемого барина. Жекки собиралась отправить камердинера в Неаполь — ближайший большой город, — чтобы он привез оттуда нормального врача. Но накануне предполагаемого отъезда Йоханса случилось непредвиденное.

Жекки вбежала на террасу, где сидел в кресле Аболешев, услышав отчетливый шум падения. опережая и бесцеремонно отталкивая ее, уже бежал Йоханс. Кресло было опрокинуто. Аболешев лежал на полу, откинувшись навзничь. Все его тело — руки, ноги, туловище, даже пальцы на руках, как успела заметить Жекки, — сводила волнообразная порывистая судорога. Тело изгибалось, выкручивалось, перегибалось в невероятных изломах всех конечностей. Голова Аболешев была запрокинута. Из уголка полуоткрытого рта стекала белоснежная струйка слюны. Жекки что-то закричала, бросилась к нему.

Йоханс оттолкнул ее. Всей тяжестью огромного тела навалился на ноги Аболешева, успев подложить ему под голову свой свернутый пиджак, а руками намертво прижать к полу извивающуюся под ним верхнюю часть туловища Павла Всеволодовича. Жекки была слишком

испугана, чтоб оскорбляться возмутительным поведением камердинера. «Надо вино!» — крикнул он ей, как если бы рядом стояла горничная. Жекки без возражения принесла стакан красного вина.

Когда она вернулась, конвульсии заметно ослабли, и вскоре тело Аболешева замерло, став совершенно неподвижным. «Дайте», — сказал Йоханс и, взяв у Жекки стакан, чуть приподнял голову Аболешева. С усилием, используя какое-то известное ему движение, разжав стиснутые зубы барина, он влил ему в рот несколько капель. Спустя мгновение Аболешев, как будто поперхнувшись, одернулся, и тогда Йоханс дал ему еще пить. Павел Всеволодович открыл глаза, обвел ими террасу и снова сомкнул веки. «Помогите нести, — сказал Йоханс, — он будет спать». Вдвоем с Жекки они кое-как отнесли его в комнату, положили на кровать.

Укрыв Аболешева пледом и впервые за все время осмысленно взглянув на Жекки, Йоханс сказал с жесткой отчетливостью, чеканя каждое слово: «Если вы хотите, чтобы ваш муж жить, его надо быть домой. Он умирать здесь». — «Что? Я не понимаю, Йоханс? Вы хотите сказать, его надо везти в Россию?» — «Да, домой, ваша деревня, здесь он умирать». — «Почему вы знаете, вы знаете, что с ним?» — «Он очень болен, и я знаю, что надо ехать домой», — был ответ.

Выслушав Йоханса, Жекки почувствовала, что она сама смертельно устала, что ей обязательно как можно скорее нужно вернуться домой, в Никольское, иначе она просто сойдет с ума. Что до Аболешева... Вначале она думала, что везти его куда-либо в таком состоянии — настоящее безумие. Но Йоханс проявлял чудеса нордического упрямства, убеждая ее в необходимости скорейшего отъезда. По существу, он взял на себя всю ответственность за последствия, и Жекки малодушно подчинилась ему, поскольку Аболешеву не становилось лучше, а ее растерянность явно уступала страстной привязанности опытного слуги к «герр Паулю».

Домой ехали с продолжительными остановками через Швейцарию и Германию. В Люцерне Аболешева показали тамошнему специалисту по нервным болезням. Жекки предполагала, что Аболешев страдает эпилепсией, и именно с этим недугом связала все странные особенности их отношений; само собой эта догадка стала для нее страшным ударом. Но, осмотрев пациента, профессор Штайер диагностировал совершенно непрофильное для своей специализации заболевание — костный туберкулез. Объявленный приговор звучал ничуть не утешительней, чем терзавшие Жекки предположения. Это был именно приговор,

поскольку способов лечения названной болезни современная медицина не предлагала.

Жекки находилась на грани нервного срыва. Столь резкий переход от упоительной радости, сопровождавшей ее все время свадебного путешествия вплоть до последних событий на приморской вилле, к полному провалу в безысходность, невозможно было пережить безболезненно. Лишь обострившаяся до полного самоотречения привязанность к Аболешеву поддерживала ее.

Ей врезался в память легкий светский говорок двух француженок, пациенток Штайера, наблюдавших во время прогулки за тем, как по дорожке в саду клиники Йоханс катит перед собой коляску с сидящим в ней беспомощным Аболешевым:

— Вы видели? Кто это? Новенький?

— Какой-то русский аристократ. Он путешествовал с молодой женой, и вот, такое несчастье. Профессор считает, что дни его сочтены.

— О, неужели? Как жаль. Он так молод.

— И так хорош собой, вы хотели сказать?

— Дорогая моя, что за намеки? Русский аристократ... я не настолько глупа, чтобы мечтать о нем.

«Бедные вы дурочки, — подумала Жекки, проходя мимо и стараясь не смотреть на них, —

если бы Аболешев вас услышал, то посмеялся бы от души». Насколько она знала, для него понятия «русский» и «аристократ» несоединимы в принципе. Недаром он столько раз подшучивал над теми нередкими чудаками, которые пытались обвинить его в аристократизме. Сама Жекки не сильно занималась подобными темами. Она даже в точности не знала, что имел в виду Аболешев, говоря об аристократии, поскольку он не утруждался подробностями. Раз высказавшись на какую-то тему, он не имел привычки к ней возвращаться. Ему становилось скучно. Жекки же было вполне достаточно того внутреннего безотчетного ощущения Аболешева, которое прочно осело у нее в душе, и которое, вопреки всяким парадоксальным выкладкам, не допускало никакого другого истолкования его индивидуальной природы, кроме неразрывного с ней врожденного благородства. Другим Аболешева она попросту не принимала, не чувствовала. Ему же, скорее всего, доставляло безотчетное удовольствие время от времени находить подтверждения невозможности его связи с окружающим миром. Вопрос о русской аристократии подходил для этого ничуть не хуже, чем что-то другое.

Когда Аболешевы вернулись в Никольское, Павел Всеволодович едва мог ходить. Но по настоянию Жекки, Йоханс каждый день выводил его по три-четыре раза на прогулки в заброшенный парк, окружавший усадьбу. Жекки считала, что нужно пользоваться последними теплыми деньками — стоял конец августа — и ни в коем случае не запирает больного в четырех стенах, поскольку чистый воздух, источающий запах хвои, по меньшей мере, не мог ему навредить, а по большому счету — должен был послужить единственным на тот момент лекарством. Собственно говоря, Йоханс придерживался того же мнения. Его первоначальные намерения по спасению герр Пауля полностью осуществились, и теперь требовалось лишь усилить попечение о нем. Жекки была довольна хотя бы тем, что Йоханс, укрепившийся в надежде на выздоровление барина, перестал смотреть на нее с отталкивающей холодностью. Он прилежно следил за исполнением всех предписаний, сделанных врачами, спокойно принимал к сведению указания Жекки и с удовольствием выводил Аболешева в парк на прогулки.

Примерно спустя месяц после водворения в Никольском, к Павлу Всеволодовичу начали возвращаться силы. Он, наконец, позволил себе

снять предписанный профессором Штайером лечебный корсет, сжимавший долгие недели в жестком панцире все его туловище от основания черепа до поясницы. Все эти ноющие, скрежещущие болью, саднящие позвонки, хрящи, кости и почти онемевшую от неподвижности, изможденную мягкую плоть. Он начал выходить из дома без помощи камердинера, хотя тот по-прежнему всюду следовал за ним. У него появился вялый, непостоянный аппетит и лицо, имевшее до того абсолютное сходство с посмертной маской, постепенно вернуло себе черты живого человеческого лица. Ему настоятельно требовалось присутствие Жекки. Постоянно полулежа в креслах, он держал ее за руку. Иногда просил поиграть что-нибудь на рояле, но, видимо, не слишком удовлетворяясь ее ученической игрой, переключался на книги из старой библиотеки. По его просьбе Жекки читала ему, в основном, стихи. Одним словом, чутье не обмануло Йоханса, и Аболешев, очутившись в родных краях, пошел на поправку.

Но, отступив, болезнь все же оставила по себе один, явный, не заживающий шрам. Если и прежде речь Аболешева, не совсем правильная и чистая (по-русски он говорил с легким, вероятно, поставленным акцентом неопределенного происхождения), давала представление о нем, как о

человеке, получившем хорошее воспитание, или даже как о человеке из определенной, довольно замкнутой касты, и носила на себе заметный отпечаток какой-то искусственности, какой-то предвзятой натянутости, то теперь, после пережитого им страшного приступа, окончательно превратилась в нечто неудобоваримое. Первое время он вообще не мог говорить.

Речевая способность возвращалась к нему постепенно вместе с мышечными рефлексам. И если последние давали надежду на полное восстановление, то в отношении речи такой надежды почти не осталось. Аболешев словно бы отступил в область бессловесного. Не то, чтобы он совсем не мог высказать какое-то простое суждение, но как казалось, совершенно потерял вкус к общению посредством слов. Будто бы травма, нанесенная его речи, захватила и нечто более глубокое и цельное, что подпитывало ее изнутри. Было похоже, что Аболешеву не только физически тяжело двигать языком, сжимать или растягивать губы, произнося какую-то фразу, но, что все эти необходимые для словоизлияния движения сделались ему как-то до отвращения скучны и не нужны, как-то чересчур мучительны, как будто всякий смысл, порождавший их прежде, был совершенно утрачен. И может быть, потому в дни выздоровления так особенно ясно обозначилась

его неубывающая музыкальность, звуковой голод — внутренняя потребность, которую он пытался, но не мог утолить.

Дальше случилось совсем неожиданное. Как только состояние Павла Всеволодовича позволило ему быть совершенно самостоятельным, он оповестил Жекки о намерении ехать в Москву для продолжения курса у известного ему доктора Облеухова. Жекки была несколько ошарашена таким решением, в особенности тем, что Аболешев не предлагал ей ехать вместе с ним. Конечно, она могла истолковать это, как проявление излишней деликатности и нежелания вовлекать ее в малоприятные особенности лечебных процедур. Ему и без того было неловко от доставленных ей хлопот. И все же обида превозмогала доводы рассудка. Аболешев категорически воспротивился ее желанию ехать вместе с ним, и Жекки приняла его отказ, как оскорбление.

Это была их первая серьезная размолвка. Жекки срывалась на крик, убеждая его, что он не смеет так поступать с ней. Аболешев был холодно вежлив и непреклонен. Жекки попробовала разрыдаться. Она знала, что Павел Всеволодович не любит спонтанных эмоций и рассчитывала, что он откликнется на них вполне определенным образом. В его ледяной броне образуется брешь, и какая-то часть его настоящих чувств все-таки вырвется

наружу. Но, утешая ее с той же выверенной холодностью, он почти ничего не сказал, позволив себе всего лишь один единственный поцелуй. Короткое пронзительное, как электрический разряд, прикосновение холодных губ к ее соленым от слез губам словно бы сотрясло мироздание. Этого оказалось довольно. Жекки еще злилась и терзалась обидой, а изнутри ее уже смирял нежный огонь. Ей пришлось уступить. Провожая Аболешева, она потребовала, чтобы он постоянно извещал о себе письмами а, если будет такая необходимость, то и телеграммами.

Так впервые после свадьбы они расстались более чем на два месяца. Разлука далась Жекки нелегко. Если бы у нее не было ежедневных хозяйственных забот, долгих задушевных разговоров с Матвейчем и общения с Серым, то наверняка тоска по Аболешеву довела бы ее до полного нервного истощения. Хуже всего оказалось то, что по возвращении из Москвы Аболешев по-прежнему нуждался в лечении.

Его отлучки в Москву стали регулярными. Затем к ним добавились поездки по делам фабрики Восьмибратова и собственного имения, заложенного в крупном Петербургском банке. Словом, Жекки могла бы посчитать на пальцах одной руки те месяцы в течение года, что они проводили вдвоем. Ссоры из-за этих отъездов тоже

стали почти обыденностью. Правда, как будто, благодаря усиленному лечению под руководством доктора Облеухова Аболешеву стало лучше. Приступы страшных конвульсий больше не повторялись.

Наружно Аболешев производил довольно благоприятное впечатление. Только неизменная слабость, тяжелая апатия и глубокая грусть, застывшая в его аквамариновых глазах, напоминали о его нездоровье. В таком состоянии он обыкновенно возвращался после своих поездок: измотанный, бледный, страдающий от ломоты во всем теле. Жекки пыталась с присущей ей запальчивостью воспротивиться подобному самомучительству, однако Аболешев успокоил ее: уж лучше мучиться несколько дней в конце поездки, чем переносить еще худшие страдания месяцами. С этим нельзя было не согласиться. В Никольском Аболешев быстро восстанавливался, после чего начинал походить на здорового человека. И так, месяца три — четыре, до того, как ему снова требовалось куда-нибудь ехать.

За последний год к привычным размышлениям Жекки о болезни мужа, к упрекам совести за постоянные срывы и ссоры из-за его поездок, стали все чаще примешиваться ревнические подозрения.

Она пыталась не давать им ход, но они упрямо

возвращались снова, и снова, в конце концов, вытеснив на второй план все прочие рассуждения. «Зачем ему ехать к Восьмибратову, если годовой процент за акции уже выплачен, а в текстильном деле он разбирается не лучше, чем я в музыке. А эта ужасная записка, выпавшая из кармана его пальто как раз в то время, когда Павлина, чистила господский костюм, а Жекки проходила мимо: «Я смогла достать только две dos. Ждите ровно в восемь». Жаль, что без подписи, а то Жекки заставила бы его поведать об этой таинственной встрече в восемь и о той, что просила его ждать. Жаль еще, что Жекки испытывала какую-то подспудную неприязнь к такого рода подозрениям. Не то она могла бы устроить несколько показательных истерик и заставить Аболешева во всем сознаться.

Только что ей даст его признание? Да, может быть, ему действительно надо время от времени консультироваться с доктором Облеуховым, и, судя по всему, эти консультации он неплохо совмещает с какими-то посторонними визитами. Может быть, он ищет знакомства с другими женщинами потому, что после той ночи дал обещание Жекки не тревожить ее, и с другими у него все как-то иначе? А может быть, он уже нашел ей какую-то постоянную замену, возмещающую утраты, понесенные в официальном браке? Ведь

выяснилось же недавно, что у председателя судебной палаты Сомнихина помимо законной жены Елизаветы Антиповны в Нижеславле имеется вторая, невенчанная, а по сути, тоже жена, подарившая ему троих ребятишек? А чем Аболешев хуже Сомнихина?

Последнее предположение заставило Жекки настолько критично пересмотреть интимную часть отношений с Павлом Всеволодовичем, что она вынудила себя попробовать сломать привычный статус-кво и однажды поздним вечером вошла в комнату Аболешева.

Он пристально посмотрел на нее, отвернулся и решительно отошел к окну. И так, намеренно стоя спиной, сказал огрубевшим сдавленным голосом: «Нет, Жекки. Этого больше не будет. Возвращайся к себе». Услышав это, она как ошпаренная вылетела из комнаты. Надо же было выставить себя такой... такой никудышной фефелой. И почему раньше в выражении «сгорать со стыда» ей виделась только метафора. На самом деле человек вполне может сгореть от стыда. В тот вечер она была тому живым доказательством.

Само собой, потом ни о каких попытках что-то изменить, не могло быть и речи. Но сомнения и тревожные мысли не отпускали ее. И чем дальше Жекки углублялась в поиски ответов, объясняющих поведение мужа, тем чаще приходила

к выводу — Аболешев ей изменяет.

Бывали минуты, когда она с полной уверенностью могла утверждать это, если бы... Если бы такие крайние, настигавшие ее, приливы отчаяния не перебивали слова, сказанные когда-то Аболешевым: «Что бы потом ни случилось, знай, в этом мире я люблю только тебя». Да он это сказал, словно предвидя будущие неизбежные раздоры. По-другому и быть не могло. В отличие от нее, доверчивой и наивной, вступая в брак, он, наверное, знал, что предстоящий им путь не будет устлан одними розами. После той первой ночи он просил ее верить ему. Жекки закрывала глаза, воображая себе его лицо, и как никогда ясно понимала, что обмануть ее способен кто угодно, только не Аболешев. И дело было даже не в словах, а в том, до какой степени, как она чувствовала, неорганична Аболешеву любая ложь, даже самая мелкая. «Нет, он не мог бы меня предать», — уверяла она себя и успокаивалась. Но так как в поведении Павла Всеволодовича с течением времени ничего не менялось, одних успокаивающих воспоминаний становилось недостаточно. Сомнения подкрадывались снова.

Жекки продолжала терзаться бешеной ревностью, но ей по-прежнему не хватало духу заявить напрямик о своих подозрениях, а значит, ее терзания только усиливались. Она была убеждена,

что Аболешев со свойственной ему прямоотой, в случае чего, тотчас подтвердит ее обвинения, и тогда ему не останется ничего другого, как заняться оформлением развода. А развод представлялся ей такой катастрофой, страшнее которой была, пожалуй, лишь смерть — ее или его, не важно. Следовательно, всякие объяснения, демонстративные приступы ревности и тому подобные проявления справедливого негодования не только лишались смысла, но и могли добавить лишь новые сожаления в придачу к уже существующим.

«Пусть уж все будет, как будет, а там посмотрим», — говорила она себе. С этой мыслью она прожила весь последний год и с ней же вошла в бывший отцовский кабинет, ставший теперь законной резиденцией Аболешева.

XVI

Павел Всеволодович полулежал перед растопленным камином в широком кресле. От камина по комнате расходилось тепло, растекался завораживающий, как породившее его пламя, красновато-дремотный свет. Другое освещение отсутствовало вопреки наступившим сумеркам.

Красные всплески огня четко обрисовывали чугунные завитки каминной решетки, круглый

циферблат каминных часов, светлое пятно от рубашки Аболешева, плотно обложенное невидимым бархатом его домашней куртки и чуть выше — бледное тонкое лицо, обросшее темной щетиной. Из-за невыбритых щек и висков обычно тщательно подстриженная маленькая борода Аболешева, соединенная с изящной линией усов, казалась массивнее и грубее. Тонкие прямые черты лица сделались проще, размякли и потускнели.

Растянувшись в кресле, Аболешев безотрывно смотрел на огонь. И пламя, будто уподобившись его неумолимому взгляду, непрерывно и безжалостно поглощало текущие навстречу невидимые лучи.

При появлении Жекки из темного угла, как из укрытия, вышел Йоханс, держа в руках поднос с графином вина и пустыми бокалами.

— Добрый вечер, — поприветствовал он ее, выходя из кабинета.

— Жекки? Ну, наконец-то. — Голос Аболешева прозвучал, как будто бы шел из подземелья.

— Когда ты приехал? — спросила она его, целуя и склоняясь к нему лицом.

Он притянул ее ближе к себе, так что она почувствовала сквозь блузку, скользящий бархат его куртки.

— Около трех, кажется, — ответил он, почти

не разжимая губ, и в свою очередь быстро спросил: — Ты что, плакала сегодня?

Жекки в который раз изумилась его способности видеть ее насквозь, способности замечать самые незначительные перемены в ее внешности, угадывать самые неуловимые внутренние движения. Так мог чувствовать и понимать лишь человек, неразрывно связанный с ней узами, куда более прочными, чем заурядная супружеская связь. Не отдавая себе в том отчет, Жекки принимала это как доказательство их двуединого естества, которое нельзя было разорвать никакими внешними силами. И разве не удивительно, что из всех, пережитых ею за сегодняшний день событий, он безошибочно выделил именно то, что произвело на нее самое тягостное впечатление?

— Да, немножко, — созналась она, — я услышала плохие новости.

— О скупке лесных участков?

— Ты тоже слышал?

— Да, в Нижеславле. — Аболешев с некоторым усилием оторвал руку, сжимавшую ее предплечье. Продолжительное физическое напряжение по-прежнему было ему в тягость. — Говорят, этим занимаются какие-то приезжие люди с большим капиталом. Скупают без оглядки, потому что казна, будто бы, со временем перекупит

наш лес по любой цене.

— И что ты об этом думаешь?

Аболешев вяло откинулся на спинку кресла, закрыл глаза, давая понять, что любая дополнительная обуза ему не по силам. Старая добрая привычка склоняла его немедленно устранить от какого либо вмешательства в действительность. Если бы он не был так апатичен, так слаб, так раздавлен какой-то неведомой тяжестью, то конечно, что-нибудь придумал. Тогда он помог бы Жекки избавиться от того душного, вязкого, темного, что обступило ее со всех сторон. Но, глядя на его неподвижную тонкую фигуру с запрокинутой головой, распластанную в кресле, Жекки понимала, что рассчитывать на помощь Аболешева в таком деле, как борьба за Каюшинский лес, ей не придется. Он может все прекрасно понимать, но ничегошеньки не сможет сделать.

— Я думаю, ты напрасно надеешься одолеть этих людишек, — сказал он, наконец, медленно проговаривая слова. — Лучше не ввязывайся, Жекки.

Холодная отстраненность, возникавшая всякий раз, когда Аболешев заговаривал о людях, как всегда неприятно оцарапала ее слух. Было похоже, что он говорил о каких-то неприятных ему существах, на которых он может смотреть лишь со

стороны, и при этом сам не имеет к ним никакого отношения. Эта его манера говорить всегда больно задевала, а подчас даже пугала Жекки, поскольку она видела, что Аболешев ни капли не притворяется, и оттого в подобных случаях его слова звучали абсолютно безжалостно.

И еще казалось невероятным, что он говорил примерно то же, что и Федыкин, как будто они подслушали друг друга. Или может быть, она должна объяснять даже самому близкому человеку, почему ни за что никогда не смирится с продажей своего леса?

Жекки пристально вгляделась в поблекшие, почти утратившие прежний аквамаринный цвет, глаза мужа. Золотые отблески огня тонули в кромешной, поглощавшей их, бездне. Таким выражение этих глаз она еще никогда не видела. Жекки оторопела и, не выдержав наплыва собственного отчаянья, схватила бессильно повисшую руку Аболешева. Она прижалась к ней губами и прижималась так до тех пор, пока Аболешев сам осторожно не высвободил свои занемевшие пальцы. Конечно, он все понимает, ему ничего не нужно объяснять, и более того, наверное, видит нечто такое, чего Жекки увидеть не в состоянии. Вот только откуда эта безропотная готовность смириться? Эта скоропалительная безнадежность? Как вообще он может жить, зная,

что все напрасно? Это было непостижимо для Жекки. Она заранее приготовилась к отпору. Чтобы не говорил Аболешев, чтобы он не предвидел, она не собирается опускать руки. И то, что она решила накануне, не подлежит пересмотру, даже если Павлу Всеволодовичу сильно не понравится ее затея.

— Я не продам им ни кусочка своей земли, — сказала она, словно предупреждая его возражения. — И можешь не убеждать меня ни в чем. Я им ничего не продам.

— Не сомневаюсь. — Аболешев опять устало прикрыл глаза. — Завтра поедем в Инск?

— Да. Если ты сможешь.

— Значит, поедем.

XVII

Этим вечером Юре пришлось взять наблюдение на себя. Захарку отец заставил сидеть в лавке вместо приказчика, загулявшего по случаю свадьбы брата. Юра с трудом улизнул из-под зоркого ока Алефтины. Поймал за руку младшего Павлушу, едва не выдавшего его побег сопливым воплем, и тихонько миновав кухню, наполненную запахом шипевших на сковородке свиных котлет, выскользнул через заднюю дверь во двор. Дальше он благополучно миновал два квартала своей

улицы, где его знала каждая собака, и свернул в ближайший, Банный переулок. Оттуда, так же украдкой перебираясь переулками, во избежание нежелательных встреч с одноклассниками или знакомыми представителями враждебного племени инских «комков» (так назывались ученики коммерческого училища), или, что было бы хуже всего — кем-нибудь из гимназических учителей, — он добрался до Садового Бульвара.

Здесь днем в хорошую погоду всегда было полно народу, по воскресеньям играл духовой оркестр, но в осенние будние дни, к вечеру, с наступлением темноты, гуляющая праздная публика расходилась. Бульвар становился тихим и малолюдным, если не считать постоянных посетителей кондитерской Матвеева, чья огромная стеклянная витрина, заполненная сказочными лакомствами, была устроена специально для бесчеловечного соблазна сладкоежек, вроде Юры.

И надо же было этому толстосуму Матвееву открыть кондитерскую именно здесь, как будто в Инске уж больше и нет других больших улиц. Открывал бы на Дворянской — там и уездное собрание, клуб, там трактир «Лондон», там самые богатые лавки. Или на Николаевской — там тоже полно магазинов, там недавно открылся театр-синема, куда гимназистам, впрочем, как и в кондитерскую Матвеева, вход строго-настрога

запрещен. Там же обосновался и главный матвеевский конкурент — татарин Белибердеев со своей модной кофейней. Так нет, надо было выставить все эти роскошные пирожные, шоколадные торты и кремовые булочки на обозрение прямо напротив наблюдательного пункта, из-за чего Юре придется сглатывать слюнки или все время коситься в сторону, чтобы даже боковым зрением не захватывать аппетитный свет, льющийся из-за витрины. Что ж, видимо, так и придется ему поступить. На какие только лишения не пойдешь ради намеченной цели.

Хорошо еще, что он, как и положено настоящему сыщику, дабы наверняка сохранить инкогнито, надел очки с толстыми синими стеклами. Их пришлось обменять у зануды Дятловского на лучшую убойную рогатку с самой тугой резиной, какую только можно придумать. И хотя этой рогатки до сих пор было безумно жаль, но зато сейчас в синих очках его не узнала бы даже родная мать, не говоря об инспекторе гимназии Полоумове — грозе всех классов, начиная от наивных первоклассников и кончая усатыми выпускниками. Попасть в лапы Полоумова на улице после семи вечера, значило неизбежно угодить в черный список провинившихся. Юра, уже дважды отмечившийся в этом списке (из-за чего имел суровое объяснение с папашей и испытал

незабываемое воздействие маминых слез), вовсе не собирався оказаться в нем снова.

Поэтому он предусмотрительно переоделся в Захаркино пальто и его же старый картуз с треснувшим козырьком. В залог сохранности этого бесценного реквизита в жестяной мастерской Захаркиного отца были оставлены форменная шинель, фуражка и ранец, заблаговременно избавленный хозяином от половины обычного содержимого. Ранец был самой необходимой принадлежностью обычной Юриной экипировки, поскольку вот уже третий год использовался в качестве салазок зимой, ударного снаряда во время потасовок с «комками», и подсобного средства для скатывания по лестнице, ведущей со второго этажа в вестибюль гимназии. Так что, в случае чего, утрата ранца могла бы затмить собой потерю любимой рогатки.

Не смотря на то, что синие стекла весьма затрудняли наблюдение, Юра, надев их, очень гордился своей полной неузнаваемостью. Когда же по необходимости, ему нужно было рассмотреть что-нибудь с особенной тщательностью, он сдвигал синие линзы на самый кончик носа и осматривал заинтересовавший его предмет поверх стекол. Так что, в общем-то, очки почти не мешали ему.

Он занял, как думал, вполне удачную позицию на удаленной скамейке под липами, куда

не проникал свет фонарей. При этом ему как на ладони открывалась вся проезжая часть улицы с ее пряничными фасадами вдоль мощеного тротуара: два купеческих каменных дома, магазин готового платья, кондитерская и посередине — трехэтажная гостиница «Инск», предлагавшая лучшие в городе условия для постояльцев и располагавшая, по общему мнению, лучшим в городе рестораном. Это трехэтажное здание, а точнее его широкий парадный подъезд с чугунными узорными столбами, поддерживающими плоскую крышу, или еще точнее — великолепный черный грэф и шифт, оставляемый на тротуаре вблизи этого самого подъезда, и был тем вожделенным объектом наблюдения, ради которого Юра вот уже третий день претерпевал всевозможные неудобства.

Желание прокатиться на автомобиле — первом автомобиле, появившемся в их городе и самом первом автомобиле, который он наяву увидел в своей жизни, — пришло к Юре сразу же, как только он ощутил невероятную скорость пронесшегося мимо него по городской мостовой фантастического механизма. Он испытал тогда нечто такое захватывающее, непередаваемое и упоительное, что дал себе слово непременно узнать, каково это на самом деле держать рулевое колесо, выжимать педаль газа и задыхаться от свистящего встречного ветра. При этом он вовсе не собирался

ждать своего взросления и даже не надеялся, что когда-нибудь его отцу может прийти в голову счастливая мысль купить что-то подобное.

Нечто неодолимое все время подгоняло Юру со страшной силой, заставляя спешить. Он всегда торопился, с неистовым азартом отдаваясь бешенству опасных мальчишеских игр, тайнам, увлекавших его и еще не освоенных знаний, смятению первой, едва мелькнувшей, любви к смуглой девочке-гимнастке из цирка-шапито, давшего всего несколько представлений во время прошлогодней ярмарки, жару нерастраченных привязанностей к дворовым и бродячим псам, кошкам, ежику, желтым канарейкам и прочей, во многом случайной, недолговременной живности, поселявшейся в его маломерной комнатке благодаря этим кратким, стремительно сменявшимся друг друга, порывам неуголимого нетерпения.

Не отстать, не упустить, догнать, дотянуться, домчаться, попробовать. И чем нестерпимее накатывала очередная волна той или иной эйфории, тем безжалостней становилось неопределенно мерцавшее в слепом подсознании предчувствие, что все равно ничего не успеть. Точно глумливая судьба вдруг не с того не с сего выводила перед его другим, нездешним взором, снежную задонскую степь, солнце, брызгающее слепящими искрами на рыхлый февральский снег, рассыпанные цепью

маленькие фигурки с винтовками наперевес. Впускала звуки тяжелых даже и в отдалении шагов, хрустко проламывающих наст, гул прерывающегося дыхания и треск той короткой пулеметной очереди, что через пять с небольшим лет разорвет сердце семнадцатилетнего юнкера в бою под станицей Александровской.

Так и теперь он не мог, не хотел и совершенно не был способен ждать хотя бы лишний день, хотя бы лишний час, зная, что настоящий рычащий и блестящий автомобиль разъезжает по тем же самым улицам, по которым он ходит почти каждый день в гимназию.

Теперь Юре вовсе не казалась случайной его увлеченность новейшей техникой, возникшая около месяца назад благодаря маленькой заметке о русских авиаторах в «Новом иллюстрированном журнале». Эта заметка послужила первым толчком, пробудившим у него желание читать и узнавать все, что только возможно об аэропланах, показательных полетах, рекордах дальности и скорости, знаменитых пилотах — Юра восхищался Сергеем Уточкинским, — а потом, со столь же бурным энтузиазмом, об автомобилях и автомобильных гонках. Он пока еще не делал четкого различия в своем увлечении на аэропланы и автомобили. И те, и другие вызывали жар и трепет, и те, и другие казались одинаково восхитительными, и если бы

вместо автомобиля первым в Инске появился, скажем, аэроплан «Брелио», то тогда Юре пришлось бы подвергать себя куда большей опасности ради неизбежного для него в таком случае воздухоплавательного эксперимента.

Неудержимый интерес ко всяким техническим изобретениям сильно изменил его жизнь. Предыдущее увлечение индейцами, почти полгода питавшееся романами Майн Рида и Фенимора Купера, и чуть было не закончившееся совместным побегом Юры и еще одного второклассника по прозвищу Свирепый Бизон в Северную Америку, растаяло как прошлогодний снег. Новая страсть вынудила Юру усиленно посещать городскую читальню, — чуть ли не единственное публичное учреждение в городе, где ему не запрещалось бывать без присмотра взрослого родственника. В читальне он отыскивал статьи в популярных журналах, посвященные последним событиям в мире авиации и автомобильном деле, кое-какие брошюры с описаниями механизмов, элементов управления, принципов их работы и детальным обзором различных моделей автомобилей, аэропланов и дирижаблей.

Узнав как-то, вроде бы от того же зубрили Дятловского, что в синема показывают фильму о полетах аэропланов, Юра пробрался на один из поздних сеансов и был застигнут там при выходе

классным наставником Ингуровым, за что на следующий день расплатился, оставшись в гимназии на два часа после уроков. Но он ни капельки не жалел о случившемся. В синема Юра увидел то, от чего радостно и больно сжалось сердце — летящие по воздуху машины, похожие на стрекоз. Через день он опять тайно пошел в театр-синема, чтобы увидеть их снова, и был вознагражден за проявленное упрямство тем, что помимо аэропланов увидел еще и коротенькую съемку автомобильных гонок под Петербургом. Его счастье ничуть не омрачилось от появления перед дверью синема наставника Ингурова, очевидно, успевшего полюбить синематограф с той же страстью, с какой Юра увлекся машинами.

После повторного нарушения гимназисту третьего класса Коробейникову пришлось остаться после уроков на три часа. Его отец был оповещен о недопустимом поведении сына, и дома у Юры произошло то самое неприятное объяснение с родителями, которое, собственно, и заставляло его теперь быть более осторожным.

XVIII

Во дворе дома Коробейниковых на Московской улице, в пристройке дровяного сарая, где когда-то ставили бричку бывшего

домовладельца, а теперь складировали всякую ненужную рухлядь, вроде прохудившегося корыта, проржавевшей самоварной трубы или трехногого стула, вскоре после просмотра злополучного фильма, Юра приступил к практическому воплощению мечты. Это была первая, не совсем удачная попытка.

Юра попробовал самостоятельно собрать автомобиль. Аэроплан, как все же более сложный с точки зрения подбора подручного материала, был следующим в списке его намерений. За основу он взял догнивавший кузов брички, давно лишившийся колес, но еще пригодный для того, чтобы сидеть на его мягком клеенчатом сиденье. Колеса Юра искал по всем известным мусорным кучам Инска, но безуспешно. За исключением одного сломанного деревянного обода ничего похожего на колеса в Инске, как назло, не выбрасывали. Обод пошел на создание рулевого управления, а все конструирование шло строго в соответствии со схемой № 2 из брошюры господина Н.И. Венге «Автомобиль, краткий обзор действующих моделей», 1909 года издания.

Следующим необходимым звеном в сооружении автомобиля стало устройство самого сложного элемента — мотора. Для этого на прочно укрепленный передок кузова был поставлена нижняя часть деревянного чемодана, выброшенного

лет двадцать тому назад, а в нее помещена раздобытая с помощью Захарки большущая жестяная банка из-под масляной краски.

Надо сказать, Захарка, как ближайший друг, принял планы Юры по созданию авто близко к сердцу. Он, в общем-то, был тоже не прочь покататься на машине, хотя и не верил, что на ней можно обогнать лошадь, на чем настаивал Юра. Лошади, конечно, если разобраться, тоже бывают разные. Если взять, к примеру, мерина приказчика Андреева, так на том, понятно, нипочем не обогнать даже хромую курицу, до того он старый и тощий. А вот, если поставить рядом с машиной любого рысака из пожарной команды, ну, или на худой конец, жеребца председателя судебной палаты Сомнихина, то тут уж без спора мотор проиграет.

Захарка вообще, как человек более близкий практической стороне жизни в отличие от Юры, напичканного книжной теорией, был большим скептиком, но при этом не обладал ни Юриной смекалкой, ни его азартом, ни, что уж там говорить, его умственными способностями. Захаркин отец прямо считал, что его отпрыску вполне достаточно для будущего управления лавкой окончить четырехклассное городское училище. Впрочем, Захарке там не понравилось, и после двух лет непрерывных мучений он бросил учебу, вследствие

чего, дальнейшая судьба его образования до сих пор была под вопросом.

Решительно отказавшись изводить свою голову всякой непонятной чепухой, Захарка тем не менее, очень уважал в других, удивительное, на его взгляд, умение разбираться в этой чепухе и даже находить в ней что-то полезное. Поэтому Юра Коробейников был для него непререкаемым авторитетом по части всякой такой премудрости. Зато постоянно проигрывал ему в рюху, и уж точно ничего не смыслил в изготовлении жестяных ковшей, ведер, самоварных труб, в лудении и паянии, то есть, занятиях самых простых и даже скучных, по мнению Захарки, наверное, именно потому, что в них он как раз знал толк.

Возможно, их дружба заключала в себе много необычного, хотя сами друзья не подозревали об этом. Отец Юры всячески поощрял демократические наклонности сына, не раз повторяя ему, что и дед, и прадед Юры были простыми тружениками, и что Юра должен этим неизменно гордиться. Мама уклонялась от подобных поощрений, но незаметно шла на уступки Николаю Степановичу, поскольку очень редко вспоминала при сыне о своем столбовом дворянстве.

Юре до всех этих взрослых расчетов и дальних замыслов не было никакого дела. Просто с

Захаркой было интересней, чем с кем-то еще. Вот и строительство автомобиля, не смотря на известные разногласия, всерьез захватило обоих.

В укрепленную на передке кузова жестяную банку предполагалось залить керосин, то есть, снабдить машину полагающимся ей топливом. Для того, чтобы раздобыть его, Юра пошел на неслыханное преступление — он слил керосин из всех имевшихся в доме ламп, полагая, что, по крайней мере, до вечера освещение никому не потребуется, а, значит, он успеет испытать свой мотор и вылить неиспользованную жидкость обратно в лампы. Захарка поступил проще — он стащил из кладовки целую бутылку с керосином и преспокойно принес ее в сарай, где находился их, еще не до конца построенный и слегка неказистый на первый взгляд, но, по правде, самый лучший на свете автомобиль.

Иллюзия полного соответствия настоящему автомобилю достигалась не только за счет распространившегося сразу по всему сараю ядовитого запаха топлива, залитого в банку, но в не малой степени благодаря правильному поведению главного застрельщика предстоящих испытаний — Юры. Как заправский автомобильный гонщик он для начала обошел «машину», оглядев ее пристальным взглядом. Пихнул ботинком деревянную колоду, подложенную под кузов

вместо колес, удостоверившись таким образом, что «шины» накачены как надо. Потом усиленно раскрутил изогнутый толстый кусок проволоки, изображавший ручку стартера. Запустив тем самым мотор, он предложил Захарке занять место рядом с водителем. Автомобиль был готов к старту. Юра, само собой, сел за руль, так как Захарке было слишком рано доверять управление столь сложной техникой.

Они «поехали». Каждый по какой-то своей воображаемой дороге. Захарку мечта уносила в неведомые края. Почему-то ему казалось, что только на такой диковинной чепуховине, как автомобиль, можно добраться до такой неправдоподобной страны, где никогда не бывает снега. Он слышал, что такие страны есть где-то на свете, и Юра даже рассказывал подробно, где и почему там всегда тепло. Захарка слушал, верил и не верил.

Что-то похожее рассказывала, когда была жива, и бабка Евдоха про какое-то Офоньское царство, про вечный свет, изливающийся там над людьми, про всегдашнее тепло без зноя, про поля, которые сами собой родят хлеб, про тенистые сады, полные сладких плодов, про всякое довольство и изобилие, которое принадлежит всем, и ни от кого ничего не требует, а дается даром.

Юра же рассказывал без бабкиных вкусных

подробностей. Пальмы, обезьяны, крокодилы... Поглядеть бы на все это хоть одним глазком, потрогать своими руками эту самую пальму, сорвать с нее банан или что там на ней произрастает, облопаться какими-нибудь мангами с мандаринами, да так чтобы, когда папаша станет нудить, по какому такому праву ты, змееныш, мол, ушел вчера без спросу из лавки, не долудил отданный в починку чайник чиновницы Пеструхиной, рассказать ему все, как было на самом деле. И про забавных обезьян, про сладкие большие, как арбузы манги, которые растут гроздьями, наподобие смородины, про белые от солнца пески тех самых островов, где никогда не бывает зимней стужи... Нет, не посмеет тогда папаша говорить, что он брешет, и не отвесит ему сгоряча ни единой затрещины, и не вспомнит даже о пропаже целой бутылки керосина, а будет слушать, и слушать.

Когда же Захарка оторвался от грез, то увидел, что Юра почему-то нахмурен, покусывает губы, недовольно пинает деревянную колоду, над которой торчал посаженный на палку руль их авто.

— Ты чего? — удивился Захарка.

— Все не то, понимаешь. Не то. Не так. Не похоже это все. Тут, понимаешь, должны быть педали тормоза и газа, а вот тут, вместо банки, цилиндр, и в нем движется поршень, а через

специальные клапаны впрыскивается топливо, а потом... ну там, понимаешь, искра вспыхивает, и поршень все время двигается и от него передается энергия. И должен быть кривошипно-шатунный механизм, чтобы превратить движение во вращательное. Чтобы машина поехала. А у нас что? Подумаешь, пахнет по-настоящему. И руль этот дурацкий, который ничего не поворачивает. Не то это, Захарка. Совсем не то. Нам же с тобой не по пять лет.

Захарка смотрел на Юру, выпучив глаза. Он ничегошеньки не понял. А что не по пять лет, так тут не поспоришь. Само собой. Он прекрасно помнил, сколько ему лет — почти что двенадцать, а Юре — одиннадцать с хвостиком.

— Ладно, — сказал он, потянувшись. — Мне пора, а то папаша осерчает.

— А может, покурим?

— Да ну?

Захарка таскал у папаши папиросы и втихаря курил. Предлагал не раз попробовать и Юре, но тот всегда отказывался. А тут вдруг не с того, не с сего сам попросил. Чудно. Папироса была только одна. Первым затянулся Захарка, потом передал, раскурив примерно до половины, Юре, снова усевшемуся на водительском месте. Юра набрал в легкие как можно больше воздуха, поперхнулся дымом, закашлялся. Захарка принялся похлопывать

его по спине, спасая от удушья. И как так случилось, что окурок выпал из пальцев Юры, уже и не вспомнить. Вот только упал он прямо в керосиновую лужу, что нечаянно образовалась, когда Захарка откупоривал бутылку перед заправкой «мотора».

Огонь вспыхнул и сразу охватил ближайшую кучу наваленного деревянного хлама. Захарка бросился вон из пристройки, а Юра, схватив какую-то подвернувшуюся под руки ветошь, попробовал ей сбить пока еще слабое пламя. Захарка успел крикнуть «пожар!», вернулся в горящий сарайчик, выбежал обратно во двор, крикнул «горим!» и, снова забежав в пристройку, увидел, как огонь уже перекинулся на стены.

Юра с запачканным лицом, слезящимися красными глазами и обожженными ресницами все еще топтал разбросанные на полу ничтожные очажки огня, отделившиеся от большого пламени. Захарка тянул Юру за руку. Юра упирался, потом они выбежали.

К сараю подбегали дворник Аким, кто-то из соседей с ведрами воды... Дровяной сарай им удалось отстоять. Сгорела только пристройка вместе с их недоделанным авто. Алефтина отпаивала маму валерьяновыми каплями. Папа семь раз снимал и надевал пенсне, прежде чем выдавить из себя: «Ну, и ну». Захарка не показывался у

Корбейниковых целую неделю. На том и закончилось первое испытание.

XIX

Наблюдая сейчас за живым воплощением той своей недавней, но так и не осуществленной, мечты, Юра убеждался, насколько далека была старая полусгнившая бричка с подложенными под нее деревянными колодами от основы настоящего автомобильного кузова. Блестящий грэф и штифт действовал на Юру гипнотически. Чем дольше он смотрел на него, тем меньше вспоминал про конспирацию. Синие очки давно были сдвинуты на кончик носа. Из-под распахнутого Захаркиного пальто высовывалась начищенная бляшка форменного ремня и стянутая им серая блуза, о гимназическом происхождении которой не догадался бы разве что слепой. Скамейка в темном углу бульвара была оставлена. Юра, усвоивший мысль о том, что он неузнаваем, перестал думать об осторожности. Магия живого автомобиля была слишком обезоруживающей.

Он уже трижды прошелся взад и вперед по тротуару вдоль фасада гостиницы, почти не отворачивая головы от машины, и естественно, не замечая весьма недружелюбных взглядов, которыми одаривал его осанистый, одетый в

лиловую ливрею, швейцар Тимофеев. Юра даже не сразу вспомнил, что вчера этот самый швейцар, когда он во второй раз совсем близко подошел к автомобилю, возопил громовым басом, чтобы он, щенок эдакий, убирался прочь по добру по здорову. Юра почему-то посчитал, что крик был обращен к Захарке, который в это время высовывался из-за кустов, а вовсе не к нему, блаженно коснувшемуся рукой правого переднего крыла «Шпица». Впрочем, убежать прочь ему все равно пришлось за компанию с Захаркой.

Нынешним вечером, оставшись без поддержки друга, но и освободившись от необходимости постоянно согласовывать с ним действия, Юра радикально пересмотрел некоторые пункты в ранее намеченном плане. Так, первоначальная надежда на то, что автомобиль по вечерам будет простаивать, после двух дней наблюдения не оправдалась.

В первый вечер хозяин автомобиля, которого Захарка прозвал «Чернявым», катал по городу целую компанию пестро одетых дам с размалеванными лицами. Наблюдатели прождали их довольно долго в надежде, что обратно Чернявый вернется один. Однако после часа ожиданий к гостинице подкатил все тот же заполненный до отказа авто, и дамы, визжа и громко хихикая, выгрузились из него, спеша

скрыться в подъезде гостиницы. Чернявый с каким-то своим приятелем, маленьким и юрким, похожим на обезьяну, подталкивали их легкими толчками, шлепками и пощипываниями, отчего дамы верещали только пронзительней. Уверенности, что они не захотят в ближайшее время ехать обратно, ни у Юры, ни у Захарки не было. Поэтому оба сочли за лучшее пойти домой спать.

На следующий день грэф и штифт снова появился перед гостиницей довольно поздно. На этот раз Чернявый привез всего одну дамочку с такими огромными малиновыми губами и желтыми волосами, что Юра невольно сравнил ее с куклой. Это сравнение оказалось вполне оправданным, особенно после того, как Чернявый, помогая ей выйти из машины, сказал: «Давай побыстрее, моя куколка». «Отчего вы такой нетерпеливый?» — последовал вопрос. «Оттого, что ты слишком медлительна, дорогуша». Он подхватил ее подмышку и утащил за собой в парадное. Юра с Захаркой предположили, что для них настало время подойти вплотную к машине и, возможно, забраться в нее. Они уже перешли со своей стороны тротуара на противоположную, где стоял авто, как из дверей гостиницы выскочил давешний приятель Чернявого, похожий на обезьяну, бесцеремонно уселся в машину и уехал. Через полчаса он

вернулся с тремя разодетыми дамами, вероятно, выделенными из вчерашней компании. Дамы снова шумно проследовали в подъезд гостиницы, а обезьяновидный окликнул швейцара. Через минуту перед автомобилем показался гостиничный лакей в лиловой, обшитой галунами, куртке, и приятель Чернявого взвалил ему на руки большую коробку, из которой торчали золотые горлышки бутылок, какие-то пакеты и разноцветные коробочки. Лакей с ношей направился в подъезд, человек, похожий на обезьяну — за ним, а швейцар Тимофеев гостеприимно распахнул перед ними тяжелую входную дверь.

После этого оба наблюдателя решили, что теперь-то уж точно пришел их час. Юра дважды успел обойти грэф и штифт и уже примеривался к дверной ручке, как на ступеньках гостиницы показалась быстро семенящая на высоких каблучках желтоволосая кукла, а вслед за ней — высокая темная фигура в распахнутом пальто. Юра и Захарка едва успели перескочить на другую сторону тротуара, чтобы их не заметил хозяин автомобиля. Ибо, увы, это опять был он.

Чернявый довольно небрежно посадил даму и, сев за руль, захлопнул дверцу. Они уехали, оставив наблюдателей в полнейшей растерянности. Захарка предлагал идти сразу по домам. Дескать, раз уж Чернявый поехал с такой фифой, то скоро

нипочем не возвернется или будет совсем дурак. Юре не нравилось, что говорит Захарка, хотя он может быть, не меньше него понимал, кто эти дамочки, с которыми раскатывает Чернявый. Сам он не стал бы делать ничего похожего. Слишком свежи были в памяти те два, изранивших сердце, томительных дня, когда он втайне от всех предавался сладкой безутешности слез, проливая их вслед смуглой девочке из цирка-шапито. Тогда он дал себе слово никогда больше не смотреть на девчонок так, как смотрел на свою вероломную смуглянку. И вообще, по теперешнему его представлению, автомобиль был настолько священным овеществлением всего прекрасного, что возить на нем каких-то визгливых девчонок было бы верхом глупости. Но в остальном, Захарка наверное был прав: скорого возвращения авто ждать не приходилось.

И все-таки они ошиблись. Не прошло и двадцати минут, как грэф и штифт снова протяжно зарокотал, проезжая по бульварной мостовой. Чернявый подъехал к гостинице уже без пассажирки. Юра ждал, что он сразу же выскочит и уйдет, но водитель почему-то задумчиво откинулся на высокую спинку сиденья и замер. В таком положении он просидел много долгих томительных минут.

Юра старался получше рассмотреть его.

Человек, владеющий автомобилем, так же как сам автомобиль, несомненно, должен был воплощать некий идеал. Тем не менее, первые же выводы, сделанные Юрой после наблюдений за Чернявым, не располагали в его пользу. Во всяком случае, созданный в воображении Юры образ благородного первооткрывателя мало вязался с этим расфуфыренным и беззастенчивым господином. Чернявый сидел, опустив голову, прикрыв глаза. Его лицо было непроницаемо. Когда он переменял позу, подавшись вперед и положив руки на руль, Юре показалось, что он услышал что-то похожее на стон или, может быть, это только так почудилось? Издав этот странный сдавленный звук, Чернявый опустил голову поверх рук, с силой вцепившихся в рулевое колесо, и так сидел тоже довольно долго, пока к нему не подошел швейцар Тимофеев и не сообщил что-то в полголоса.

Чернявый нехотя вышел из машины. Непроизвольно обернувшись к замершим напротив него наблюдателям, не видя их, он прислонился спиной к капоту автомобиля, вытащил портсигар и, не спеша, достал из него тонкую сигару. Швейцар услужливо чиркнул спичкой. Тимофеев, что-то говорил, ворчливо кивая в сторону, где как раз прятались Юра с Захаркой, так что у Юры даже возникло слабое подозрение — уж не о них ли речь? Хотя с чего бы, они ведь всего несколько раз

промелькнули вблизи грэфа и штифта. Чернявый слушал спокойно, потом тихонько засмеялся и, отбросив едва прикуренную сигару, внятно сказал: «Пустяки». После чего направился к подъезду гостиницы.

Прежде чем он скрылся за дверью, Тимофеев успел подобрать еще дымящуюся сигару и, на ходу засунув ее в карман, догнал щедрого постояльца, очевидно, уже в вестибюле. Тогда Юра успел еще раз обойти машину, а Захарка только-только высунулся из-за кустов, как Тимофеев опять вышел на крыльцо, вероятно, чтобы раскурить без свидетелей нечаянно доставшийся трофей, и тогда же оглушил Юру своим внезапным окриком. Не сговариваясь, оба приятеля припустили со всех ног.

Нынешний вечер, в отличие от двух предыдущих, был на редкость спокойным. И надо же было папаше Захарки запереть его в лавке именно сегодня, когда они могли бы, наконец, осуществить задуманное. Сидя на скамейке, бродя по аллее Бульвара, переходя с одной стороны улицы на другую, Юра непрерывно думал о том, как ему поступить.

Сейчас, когда вот уже два часа автомобиль невостробованно стоит у подъезда, когда вокруг нет ни единого прохожего, и даже Тимофеев показывается намного реже, чем вчера, нужно во что бы то ни стало воспользоваться благоприятной

минутой. Нельзя не воспользоваться, потому что другого такого вечера может не быть. Выждать подходящий случай днем опасно, поскольку тогда придется прогуливать гимназию. Ночью — и того хуже. Ночью почему-то ужасно хочется спать, ночью трудно уйти из запертого на все замки дома. Наконец, ночью вообще как-то неуютно себя чувствуешь, как будто невольно ровняешь себя со всякими бесчестными людьми, которые привыкли обделывать скверные делишки под покровом темноты, а ведь у Юры и в мыслях нет ничего дурного.

В общем, теперешняя возможность, как ни посмотри, может быть — единственная. Ну и что, что договаривались они прокатиться вместе с Захаркой? В конце концов, Юра не виноват, что у Захарки такой скверный папаша. К тому же, если сегодня у Юры все получится, то, возможно, чуть позже, уже вооруженный опытом вождения, он прокатит Захарку с меньшим риском. Ну что делать, если, к примеру, сегодня не получится завести автомобиль или остановить его в нужном месте? Или Чернявый с друзьями все таки объявятся в самый неподходящий момент? Нет, уж лучше для начала пострадать одному, чем впутывать в неприятности еще и несведущего Захарку.

XX

Чем больше он мысленно рассуждал в таком духе, тем крепче становилась его решимость осуществить мечту в одиночку, прямо сейчас. Завораживающий грэф и штифт делал свое дело. Невозможно было дольше видеть его в каком-нибудь шаге от себя или даже дотрагиваться до его отполированных боков и бездействовать. Оглянувшись еще раз по сторонам, Юра решительно приблизился к автомобилю. От волнения ноги его сделались ватными, руки дрожали, но переливающая через край жажда хотя бы на несколько минут завладеть сказочным сокровищем, пересилила последние сомнения.

Убедившись, что крыльцо гостиницы пусто и кругом ни души, Юра открыл дверцу машины. Сердце прыгало в груди, как воробей в ловушке. Замирая от страха, он повернул ключ зажигания, нажал на педаль и, почти опьянев от охватившего его радостного безумства, почувствовал, что автомобиль, громогласно взревел и покорно тронулся с места. Швейцар Тимофеев, выбежав на крыльцо спустя минуту, увидел лишь стремительно удаляющийся темный силуэт. Юра не расслышал ни возмущенных криков, ни запоздалых ругательств.

Навыки вождения были усвоены им, конечно,

лишь теоретически, прежде всего благодаря бесценной брошюре господина Венге. Добавив к ним немного интуиции и здравого смысла, Юра легко сообразил, куда нужно жать и как крутить руль, чтобы не вылететь сразу на обочину. Грэф и штфт, не делая скидку на новичка, мчался по пустынному Садовому Бульвару, ускоряясь по мере того, как Юра сильнее вдавливал педаль газа. Несколько минут, пребывая в каком-то нервном ступоре, он просто не мог заставить себя ослабить давление на эту педаль, настолько непослушными стали все его мышцы. Свернув на Дворянскую, он едва не столкнулся с сонным извозчиком, с трудом повернув руль влево, и тем самым, едва-едва избежав катастрофы.

Фонари авто мигали. В их подпрыгивающих лучах Юра не сразу мог распознать, казалось бы, изученные вдоль и поперек ухабы знакомой улицы. Уличные фонари не на много улучшали видимость. К тому же, из-за своего маленького роста он должен был все время вытягивать шею, чтобы наблюдать за дорогой через переднее стекло, а удержание рулевого колеса, вопреки его ожиданиям, требовало немалой физической силы, каковой ему явно не хватало. Но Юра был слишком захвачен собственным энтузиазмом, чтобы уделять внимание мелочам. Подумать только, в яви свершилось то, о чем он так долго мечтал. То, что виделось в

каких-то далеких снах, стало реальностью — он мчался на новейшей модели австрийского ролс-ройса по кое-как мощеной улице родного города. Он — Юра Корабейников!

Юра не замечал, как оглядываются на него немногочисленные прохожие, как опасливо жмутся к тротуарам извозчики. Не слышал, что уже раздается где-то поблизости громовая трель полицейского свистка. Он предполагал в два счета миновать парадные улицы и, пролетев через Соборную площадь, съехать на объездную дорогу, чтобы в полной безопасности разогнаться там до предельной скорости, а уж потом, утолив самую нестерпимую жажду, тем же или другим путем вернуться обратно, к гостинице и поставить машину на прежнее место. Ни на секунду ему не приходила в голову мысль о том, что осуществление его высокой мечты может прерваться самым непредсказуемым образом.

Он уже почти проехал всю Дворянскую, как почувствовал, что автомобиль почему-то перестал отзываться на надавливание педали. Улица, как нарочно, шла на подъем. Юра усиленно выжимал газ, но грэф и штифт словно, не понимая столь привычной для него команды, отказывался подчиняться. Когда внезапно погасли фары, и почти одновременно с этим прервалось раскатистое рычание двигателя, Юра с ужасом понял, что

катится спиной вниз все по той же Дворянской, только уже не видя ничего ни впереди, ни позади себя.

Скорость была приличная, соответственно крутому склону улицы. Юра лихорадочно жал, что было мочи на тормоза, но те наотрез отказывались повиноваться. Мимо в полутьме неслись дома, деревья, люди, редкие горящие фонари. Юру охватил неопишуемый страх. Ничего подобного прежде он никогда не испытывал, даже когда загорелась пристройка дровяного сарая. Грэф и штифт больше не был управляемым совершенством. Напротив, он вот-вот мог превратиться в смертоносное, хотя и нерациональное, орудие. Юра, зажмурившись, уже видел картину неизбежной катастрофы — расплюснутая всмятку машина в окружении дюжины окровавленных трупов невинных жертв. Для себя в этой картине места почему-то не находилось. И все же, не смотря на мелькающие перед глазами страшные виденья, он продолжал выжимать тормозной рычаг.

Он еще успел расслышать раздавшийся где-то сбоку громкий крик, увидеть проскочивший мимо высокий фасад и два чугунных фонарных столба, прежде чем его отбросило с непостижимой силой вперед и вверх. Дикая боль в правой ключице внезапно на несколько секунд лишила его сознания.

Какой-то по-особенному резкий прерывистый звук так же неожиданно заставил открыть глаза. Юра увидел себя приподнявшимся на ноги, рядом — огромную фигуру городского с зажатым между зубами свистком, по сторонам еще каких-то людей и грэф и штифт, надавивший задом круглую афишную тумбу, на которой выделялось разноцветное пятно новенькой киноафиши:

**ТОЛЬКО У НАС
НЕСРАВНЕННАЯ ЖАННЕТТА ТИММ
В ПОТРЯСАЮЩЕЙ ФИЛЬМЕ ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ
«ГОРЯЩИЕ ЦВЕТЫ»**

Юра дрожал то ли от сознания содеянного, то ли от вечернего холода, но при всем том почувствовал острое разочарование, прочитав афишу: вместе с такими большими, получасовыми, картинами обычно не показывали ни автомобильных гонок, ни запусков дирижаблей.

Между тем, городской и кучка собравшихся зевак приступили к обсуждению доселе невиданного происшествия.

— Ну что, попался, микроб ты этакий? А, гимназер? Уж, я тебе покажу. Уж ты у меня узнаешь, — клокотал на всю улицу страж порядка.

Резко ухватив Юру за рукав, он причинил такую нестерпимую боль, что Юра вскрикнул, и чуть было снова не потерял сознание.

— Как вам не стыдно, — слышался скромный голос, — ведь это ребенок.

— Чего еще там, — огрызнулся городской.

— Да пойдите, может быть, это вовсе не мальчик был в авто? Посмотрите на него, как он мог уехать на автомобиле? Он такой маленький.

— И то... Правильно, — подхватило еще несколько голосов. — Не мог мальчишка до такого додуматься.

— Как не мальчишка, позвольте, но я сам видел...

— Эти гимназисты совсем распоясались. У меня сосед вот такой же точно, как этот малолетний бандит, все лето таскал огурцы с огорода.

— Безобразие, распустили на свою голову. А еще толкуют о всеобщем образовании. Нате вот, полюбуйтесь. Кушайте свое образование.

— Да, ясное дело, мальчишка. Я его тоже видел.

— Само важно, что я видел, — веско отрезал полицейский, и Юра снова ощутил корявую железную лапу, подхватившую его за шиворот. — Ишь ведь, еще скалится, муравей этакий. А ну, пошли. В участке мы с тобой живо разберемся.

Юра почувствовал, что его тянет за собой

явно превосходящая сила. Он, собственно, не сопротивлялся. Слишком мучительна была боль в плече и слишком спутаны все мысли, чтобы он мог возражать. Однако довлеющая над ним власть неожиданно смягчилась. Круг зевак покачнулся. В свете фонаря пролегли неверные тени.

— Вот он, — сказал запыхавшимся голосом швейцар Тимофеев, протискиваясь между зеваками и давая дорогу идущему следом невысокому кривоногому человеку, похожему на обезьяну. — Вот, глядите, как я и предупреждал их милость, он самый мальчишка и есть. Ишь вить зрячий, а сам убогим прикидывался. Так ведь, Емельяныч?

Городовому не слишком понравилась фамильярное обращение к нему при исполнении важной миссии — задержании опасного преступника, но ответить старому приятелю, каковым был Тимофеев, пришлось по возможности дружелюбно.

— Он самый, нарушает, вишь.

— А я что говорю, — подхватил Тимофеев. — Я, Соломон Иваныч, предупреждал их милость. А они мне, пустяки, мол. И вот видите, что вышло.

— Вижу, вижу. — Тот, которого Тимофеев назвал Соломном Ивановичем — человек-обезьяна — бегло оглядел Юру шустрым живым взглядом и добавил, обращаясь к городовому: — Э-э, любезнейший, вы подождите минутку. Тимофеев,

сделай, братец, милость, позови Грегга. Он здесь как раз недалеко, в клубе. Ему будет любопытно увидеть. Тимофеев, кивнув, тотчас удалился, а городской отчего-то нахмурился.

— Чего тут любопытного? Не положено.

— Полноте, любезнейший, что вы такое говорите, что тут собственно такого...э-э... — Соломон Иваныч как-то изощренно ловко выложил свою руку из кармана и переложил ее в карман городского. Мало кем замеченный жест имел выдающиеся последствия — городской перестал поддерживать Юру за шкирку.

— Ладно. Никуда не денется. А вы чего рты раззявили, — рыкнул он в сторону зевак. — А ну, разойдись, нечего, нечего, тут вам не в цирке. Не положено.

— Да, господа, прошу вас, — поддакнул Соломон Иваныч. — Ничего интересного. Расходитесь.

Емельяныч начал усиленно расталкивать особенно любопытных, направляя их подальше в сторону от места происшествия. Впрочем, большинство зрителей рассеялось, не дожидаясь принуждения. Когда возле автомобиля остались лишь городской, Юра и Соломон Иваныч, к ним подошли еще двое. Впереди, не спеша, раскуривая на ходу сигару, шел высокий широкоплечий Грегг, он же Чернявый, в распахнутом щегольском пальто,

за ним — упитанный Тимофеев в пышной ливрее. Юра зажмурился и непроизвольно вздохнул. Ему вновь стало страшно.

Грег сдержанно поприветствовал собравшихся и с заметным недоверием посмотрел на Юру.

— Вы, юноша, выбрали весьма неудачный день для вашей проделки, — сказал он, помедлив, и насмешливо сощурил холодные глаза. — Со вчерашнего дня в баке почти не оставалось бензина. Его только завтра утром обещали доставить из Нижеславля. Но, впрочем, может быть, это не вы вздумали угнать мой шпиц?

Юра вздрогнул от такого неслыханного оскорбления. «Угнать? да за кого он меня принимает!»

— Он, он. Больше никому. Вишь, как зыркнул волчонком, — сказал Емельяныч, попробовав встряхнуть Юру для острастки.

— Оставьте его, — небрежно, но с грозной ноткой в голосе возразил Грег. — Итак, кто же это сделал?

— Я. — Юра почти равнодушно посмотрел на Грега. Сказав правду, он, безусловно, навлекал на себя неизбежный позор, но, не сказав, потерял бы нечто столь важное, для чего у него пока не находилось слов. Грег не сводил с него холодных глаз.

— Я не хотел, чтобы так вышло.

— Что именно?

— Я не собирался угонять вашу машину.

— Не верьте ему, господин Грег, — взревел Тимофеев, — врет, врет, проклятый чертенок.

— Окажите мне такую любезность, Павсикакий Анимподистович, — прервал его Грег, — передайте коридорному, чтоб мне приготовили через час ванну.

Тимофеев обиженно притих, но, чуть-чуть помявшись, послушно поплелся к гостинице.

— Так зачем же вы все-таки отогнали автомобиль на эту улицу? — по-новому спросил Грег.

— Я хотел покататься, — ответил Юра, смущаясь и чувствуя, что краснеет до самых корней волос.

Так стыдно было почему-то выглядеть маленьким мальчиком в глазах этого большого, смеющегося над ним, человека. А то, что Грег подсмеивается, да еще получает удовольствие от всего этого комичного расследования не вызывало сомнений. Но именно в ту минуту, когда Юра подумал об этом, во взгляде Грега произошла какая-то странная перемена. Он целиком сосредоточился на Юрином лице.

— Послушайте, молодой человек, — сказал он, стряхнув пепел с сигары и обдавая его

смешанным запахом душистого дыма и вина, — вы мне сейчас удивительно напомнили... Послушайте, у вас есть... ну, скажем, сестра?

— Да... Есть... она, да. — Юра недоумевал. В самом деле, при чем тут его новорожденная сестра?

— Я так и думал. — Грег отвернулся, возвращаясь к прежнему холодновато-насмешливому тону. — И увлеченность автомобилями у вас, очевидно, семейственная, как и эта двусмысленная способность без видимых причин заливаться румянцем. Вот что... — он окинул взглядом Емельяныча и своего неказистого приятеля. — Ты разберись тут, Соломоша, — сказал он, обращаясь к последнему. — И пришли кого-нибудь, чтобы машину оттолкали обратно, пока какой-нибудь здешний умник не разобрал ее на утиль.

— Как это, то есть? — возмутился городской. — Тут вам, господа, ни абы что, а место происшествия. А вы тут распоряжаетесь. Не положено.

— Успокойтесь, любезнейший, — прервал его сахарным голосом Соломоша. — Мы сейчас с вами обо всем договоримся. — И ласково ослабившись, добавил: — Разве вы не видите, что владелец автомобиля не желает продолжать разбирательство и давать какой-либо ход делу?

— Совершенно верно, — подтвердил Грег, —

не желаю. По-моему, этот молодой человек — он кивнул на Юру, — и так достаточно пострадал. Кстати, молодой человек, почему вы все время держитесь за плечо?

— Ушиб, кажется, — сквозь зубы проронил Юра.

— В самом деле? Подойдите-ка сюда, поближе. — Грег указал Юре, как ему показалось, на самое яркое место под фонарем.

Расположившись там, он повелительно предложил Юре снять его фальшивое пальто и принялся бесцеремонно ощупывать доверчиво подставленное больное предплечье. Осмотр сопровождался короткими вопросами, вроде: «Здесь больно? А здесь?». Юра был так сбит с толку, что едва-едва бурчал что-то в ответ. Но так как больное место вскоре само себя обнаружило, Грег почти обрадовался: «Да у вас заурядный вывих».

Юра еще запомнил любопытные взгляды Емельяныча и Соломоши, обращенные в их сторону. Запомнил шелест подъехавшей пролетки, из которой вышли полицейский полковник, кажется, это был сам полицмейстер, и еще один, вроде как участковый пристав. Запомнилось и то, с каким безразличием встретил их Грег. Он едва кивнул им, продолжая сидеть перед Юрой на корточках, твердо сжимая его больную руку двумя

пальцами. Затем он быстро встал, словно бы слегка потянул Юру к себе, а потом произвел сильное и резкое движение, от которого Юра невольно вскрикнул. Наступившее спустя несколько секунд облегчение, вызванное прекращением нудящей боли в плече, было так удивительно, что Юра не сразу осознал плывущие над ним голоса:

— Что, так лучше?

— Полковник Петровский... участковый пристав Васюхин... С кем, позвольте спросить, имею честь...

— Грег...

— А вы?

— Соломон Иванович Шприх, поверенный господина Грега.

— Что здесь произошло?

— Так что, ваш высокбродь, вот этот мальчишка забрался вот в ихний автомобиль, да и расшибся им об тумбу, какую изволите видеть акурат напротив Собраниа. От чего причинен ущерб городской собственности. Среди обывателей убитых и покалеченных нет.

— Мальчик пострадал, получил небольшой вывих...

— А ваш авто?

— Что? А, нет, с ним все в порядке.

— И как же зовут нашего юного Рональдо?

— Как ваша фамилия?

— Почему он молчит, что с ним?

Юра не сразу сообразил, что говорят о нем. Но, поняв, тотчас откликнулся.

— Коробейников.

— Вот те на...

— Стало быть, сын известного отца. Весьма надо сказать известного, хотя я и не имею ничего против его врачебной практики, и, так сказать, деятельности общественно полезной, однако... Должен сообщить, вам, господин Грег, что поднадзорное положение данного лица... то бишь, отца нашего... э-э...

— Как говорится, яблоко от яблоньки не далеко падает.

— И может иметь, так сказать, двойкие последствия.

— Я бы хотел избежать всяческих последствий для кого бы то ни было. Надеюсь, полковник, вы меня понимаете. Прошу принять мое заявление, как вполне официальное. Я считаю инцидент исчерпанным. Материальные убытки городу, если таковые обнаружатся, я готов возместить.

— Конечно, я понимаю ваше положение, ваши благородные намерения, так сказать. Желание сгладить последствия, естественные для человека приезжего и пользующегося гостеприимством, но, хочу заметить, что речь здесь, как я понимаю, идет

о противуправном поступке, имевшем в себе угрозу общественному спокойствию.

— Полагаю, мы могли бы решить этот вопрос.

— Да, но вынужден заметить вам...

Юра внимательно следил за лицами собравшихся и чем больше смотрел на Грегга, тем сильнее убеждался — человек, так или иначе причастный к техническому прогрессу, будь то пилот аэроплана или водитель автомобиля, не может быть дурным, и уж конечно, он не может быть трусом. И, конечно, он, Юра, сильно ошибался, когда думал, что Грегг не достоин своей великолепной машины. Теперь его мнение изменилось на прямо противоположное. Да, вот это настоящий автомобилист, а не какой-нибудь рохля, шляпный мастер. Тут уж ничего не скажешь. Такие, наверное, все эти люди, принадлежащие тому чудесному миру, в котором раскатывают блестящие авто, плывут между облаков серебристые дирижабли и порхают воркующие стрекозы аэропланов. И, вероятно, именно таким когда-нибудь должен стать сам Юра, если, конечно, завтра его не исключат из гимназии.

На следующий день «Инский листок» под рубрикой «Происшествия» опубликовал следующую заметку:

Вчера автомобиль прибывшего

в наш город по коммерческим делам господина Г., будучи оставлен беспечным хозяином, подвергся угону. Похитившим его повесой оказался не кто иной, как ученик инской мужской гимназии, не отличавшийся и прежде, как нам стало известно, примерным поведением. Проехав не более полуверсты по Дворянской улице, автомобиль врезался в афишную тумбу. Прибывший на место происшествия постовой городской инской части Макар Осокин задержал незадачливого шофера, намереваясь препроводить его в управление участка. Однако, появившийся среди любопытствующей публики хозяин авто заявил, что сам, шутя, отдал машину в управление молодому человеку, не ожидая, что тот справится с воздением. Вследствие чего, заявил о своей полной готовности принять на себя всю тяжесть последствий. Юный угонщик уверил представителей полиции, что не имел дурных намерений, а лишь желал «покататься». Несмотря на то, что в подобных случаях шофер неизбежно

должен подвергнуться ответственности за неосторожную езду, усиленное заступничество автовладельца и снисходительность властей к отроческим летам первого инского автолюбителя позволили ему избежать сурового наказания. Со своей стороны, от имени всех почитателей прогресса, считаем себя обязанными выразить надежду, что среди последователей признанного нами первопроходца на ниве автоспорта в нашем городе со временем окажется довольно лиц и более приверженных правовому порядку, равно и более к тому способных по своему возрасту.

Если бы не ехидное замечание в самом конце заметки, Юра вполне мог бы считать ее первым кирпичиком в здании своей будущей славы великого автогонщика.

XXI

На светящемся полотне клубились рваные тени. Из них выступал силуэт красавицы, с змеиной грацией подкрадывающейся к господину во фраке. Тени переливались всеми оттенками черного —

тени деревьев, шумевших на ветру. Красавица, вышла из темноты, демонстрируя облегающее платье с отливом а ля «рыбья чешуя», вьющийся по ветру воздушный плащ, свисающий со спины и высокую полуобнаженную грудь в неправдоподобном по откровенности декольте. Вот она, незамеченная, подкралась со спины к господину во фраке, задумчиво сидевшему на скамейке в саду, и приготовилась занести над ним карающий кинжал возмездия. Тапёр ударил оглушительно по клавишам, вызвав ураган всхлипов и унылое дребезжание в утробе старенького фортепьяно.

— Черт знает что... — услышала Жекки, и, повернувшись, увидела неприязненную гримасу на лице Аболешева.

— Тебе его жалко? — спросила она шепотом, имея в виду предполагаемую жертву красоты в исполнении неподражаемой мадмуазель Тимм и удивляясь попутно такой силе артистического воздействия на обычно хладнокровного Павла Всеволодовича.

— Мне жалко мои уши. — Аболешев встал, мягко пожав ее руку. — Извини.

Жекки видела, как его тонкая фигура пересекла белый луч, идущий от кинопроектора, и на секунду заслонила собой, скользнув по экрану, скамейку с господином во фраке. Послышался

одиноким недовольным шик. Аболешев равнодушно пошел к выходу, оставляя позади темные ряды зрителей и оживленные белым лучом заграничные страсти.

Как не раздосадовал Жекки его уход, она решила все же досмотреть фильму до конца. Ей, в отличие от Аболешева, очень нравилось бывать в синема. До того нравилось, что всякий раз приезжая в Инск, она обязательно выкраивала время, чтобы посмотреть какую-нибудь картину. Некоторые жители Инска, как она знала, посещали вообще чуть ли не все сеансы синематографа, и это необычное новое искусство им не приедалось. Напротив, наблюдалась обратная закономерность — чем чаще человек ходил в синема, тем сильнее его туда тянуло снова, и снова.

Проводив взглядом Аболешева, Жекки переглянулась с сестрой и доктором Коробейниковым, также заметившими его уход. Поняла, что ничего необычного они в этом поступке не видят, но всецело увлечены зрелищем красоты и порока, бушующими на экране.

Вот роковая красавица-вамп — мадмуазель Жанетта Тимм. Ее лицо, страшное от чрезмерной красоты, показано крупным планом: большие глаза, обведенные тенями, густые закрученные кверху ресницы, пухлый рот, тщательно обрисованный черной помадой. — Удивительно, как им удается

так закручивать ресницы? Неужели они настоящие? — Вот Жанетта пролепетала нечто, и ее немой голос отразился в межкадровом титре: «Ты заслужил это».

Вот она обвилась искрящимся телом вокруг черного фрака, и тот обхватил ее, заслонив собой всю нескромную сцену поцелуя. Вот она вынимает из-под плаща руку с кинжалом... Надрывная дробь фортепьяно еще раз отзывается гнусавым дребезжанием расстроенного инструмента. Тело в черном фраке сползает со скамейки и застывает в ногах убийцы. «Ты заслужил это», — повторяется предыдущий титр. Вероломный любовник наказан. И вот уже героиня мадмуазель Жанетты входит в огромный зал, увешанный картинами, ускоряет шаги, бежит через анфиладу комнат, зовет: «Арман». Вбегает в комнату — перед ней на полу лежит еще одно тело. Это ее жених. Рядом с ним револьвер. Титр: «Застрелился».

Чувства героини изливаются бурными заламываниями рук, запрокидыванием головы, вознесением молитвенных взоров, сотрясанием всего тела в отчаянных конвульсиях. Опять лицо крупным планом: глаза черны от слез. Вот красавица, пошатываясь, выходит из комнаты на какую-то странную веранду, спускается в сад. Там снова шумят деревья, опутывая его черными тенями. Она проходит между клумбами, полными

белых цветов. Останавливается возле одного из них, тянется рукой к сухому цветку и, вздрогнув, отступает. С руки капает кровь. Титр белыми буквами на черном фоне: «Они мертвы».

Тапер живо подпускает мрачных красок, что-то меланхолично-шопеновское. Героиня, волоча прозрачную накидку, медленно идет по длинной аллее. Крутящиеся, переплетенные тени с двух сторон обнимают ее, и она уходит все дальше, и дальше в темноту, которая исчезает с последним титром: «Конец». В зале слышатся женские всхлипы, покашливания, шарканье, стук поднимаемых сидений.

Жекки тоже поднялась, чувствуя, что готова расплакаться. Грудь стеснило странное гнетущее ощущение. Будто она уже когда-то видела что-то такое, похожее, отдающееся такой же необъяснимой тоской, хотя эту фильму посмотрела впервые. Как будто где-то уже мелькали такие же переплетенные в движениях тени, и был такой же сад или некое пространство, обсаженное деревьями и цветочными кустами. И точно так же нарастая, сгущалась вокруг темнота, и так же где-то в ней самой, отзываясь на непонятную боль, звучало отчаянье. Она не могла сейчас вспомнить, когда и где она могла пережить что-то подобное, но чувство, что она пережила это, и теперь вдруг увидела в странном отображении на киноплёнке,

вызывало желание закричать или разрыдаться прямо на глазах публики, покидающей синема-театр.

— Да, ловко умеют эти деятели играть на нервах, — сказал доктор Коробейников, неуклюже пропуская Жекки вперед.

На улице, вдохнув холодного воздуха, пропитанного запахами пыли и печного дыма, Жекки остановилась. У нее разболелась голова. Ей даже показалось, что она ослепла на долю секунды, как будто вся клубящаяся темнота, которая только что наплывала с экрана, прихлынула разом к ее глазам. Вдобавок мучительно захотелось пить.

— Что с тобой? — услышала она голос сестры. — Ты такая смешная, Женька. До сих пор как ребенок. Не понимаю, как можно так близко принимать весь этот напыщенный вздор. В нашем любительском театрике играют, ей Богу, лучше. А эта Жанетта Тимм точь в точь акушерка Пустовойтова, только что накрашенная.

— Да, нет. Это так... Просто голова разболелась.

Опираясь на трость, подошел Аболешев.

— Ну, что? — спросил он, — кажется, все довольны? — Но, перехватив взгляд Жекии, запнулся.

— Наверно, от духоты, — попробовала она оправдаться.

— Ничего, — откликнулся Николай Степанович и поправил вечно сползающее пенсне. — Сейчас подышите свежим воздухом, и все как рукой снимет.

— Может быть, все-таки поужинаем? — предложила Ляля, — Мы же хотели. Правда, я слышала в «Инске» сегодня кутят купцы. Ярмарка закончилась. Но мы могли бы пойти в трактир Лядова. Там всегда как-то спокойнее.

— По-моему, в «Инске» кутят каждый день, — хмуро заметил Николай Степанович. — А вообще, я проголодался ужасно. Поедем?

Аболешев пожал плечами.

— Да, поедемте, — согласилась Жекки. Боль и жажда подавляли ее волю. Ей было все равно куда ехать, но в ресторане, по крайней мере, можно попросить чего-нибудь выпить.

Николай Степанович не без труда нанял две свободные пролетки. Не каждый извозчик был готов упустить выгодного рублевого седока, например, до Волковой Слободы, из-за одного несчастного гривенника до Бульвара.

Спокойно наблюдая за свояком, Аболешев даже не двинулся с места. Всегдашнее положение постороннего для него было самым естественным. Всякая житейская суэта легко обходила его стороной, находя совершенно недоступным для своих происков. По крайней мере, до тех пор, пока

рядом с Павлом Всеволодовичем были Йоханс или Жекки.

Всю дорогу до гостиницы «Инск», — тамошний ресторан решено было все же предпочесть трактиру Лядова, — Жекки крепко прижималась к мужу и молчала. Думалось о том, что если бы сейчас рядом не было Аболешева, и она не могла бы вот так беззастенчиво вжиматься в него, словно бы укрываясь с головой от неведомого и страшного врага, если бы он, ласково полуобняв, не придерживал ее за плечо, то, наверное, она и вправду не выдержала бы и разрыдалась на глазах у всех, как маленькая девчонка.

Мысли как-то путались и прерывались. Нервы стали совсем никуда не годны... Поверенный Восьмибратова не соглашается на отсрочку по процентам, придется обращаться в коммерческий банк за новым займом. А вечерами уже совсем по-осеннему холодно. И скоро, должно быть, зарядят дожди, потом повалит снег, и станет совсем промозгло и темно, темно и страшно как там... где она уже когда-то была, о чем почему-то помнит, не умея ни стряхнуть с себя эти воспоминания, ни понять по-настоящему, что же они такое.

XXII

Первое, что бросилось ей в глаза, когда они

подъехали к гостинице, был знакомый, отбрасывающий яркие блики, автомобиль, оставленный под фонарем неподалеку от парадного подъезда. Грег явно не торопился покинуть гостеприимный городишко. Безопасность шпица, несмотря на известные события, его, по-видимому, не слишком беспокоила.

Всю историю с несостоявшимся угоном его машины Жекки услышала от обоих старших Коробейниковых, а потом и от Юры, в первый же день по приезде в Инск, тем более, что случилась эта знаменательная история как раз накануне. Рассказы всех участников и очевидцев были, с одной стороны, очень похожи, а с другой — заметно отличались по тону изложения.

Елена Павловна, узнавшая обо всем позже других, была сильнее всех напугана, а потому — и сильнее других обрадована счастливой развязкой. Она наперебой обвиняла то Юру, то себя. Дескать, она слишком многое ему позволяла, а он, пользуясь ее материнской слабостью, в результате «совершенно отбился от рук», «стал дерзок» и, наконец, «перестал воспринимать и ее, и отца, как нравственных наставников. То принималась оправдывать в обратном порядке, сначала себя, а потом сына. Завершалось все это патетическое излияние краткой, но весьма внушительной похвалой в адрес Грега: «Если бы не

джентльменское поведение этого человека, то неизвестно, что бы мы сейчас делали».

Юра говорил о случившемся неохотно. По всему было видно, что он до сих пор не оправился. Сделаться объектом всеобщего внимания, предметом обсуждения чуть ли не всего города, ему совсем не хотелось, а, сделавшись им поневоле, он смущался и старался вести себя как можно незаметней и в гимназии и, особенно, дома.

Но всего забавнее было наблюдать Николая Степановича. Этот сухой, нескладный, легко раздражавшийся, желчный, помешанный на «социальных вопросах», все еще поднадзорный по причине политической неблагонадежности, почти постоянно каторжно занятый в больнице, но, в общем-то, довольно смирный, человек, был буквально вне себя от того, что его сын оказался замешан в такое неблагоприятное происшествие. Его сотрясало от ярости, ведь теперь он вынужден быть благодарным какому-то заезжему дельцу с сомнительной репутацией. И неважно, что в истории с Юрой Грег, по мнению доктора, проявил не самые мерзкие свойства своей, безусловно, глубоко порочной натуры. Однако, увидеть в «каком-то ярыге» порядочного человека Николаю Степановичу было, пожалуй, еще тяжелее, чем признать, что сам он может быть до глубины души тронут чьим-то великодушным поступком. Кроме

того, Николай Степанович, будучи человеком умным, не мог не понимать, что заступничество Грега в таком деле не могло ограничиться одними словами. Доктор открыто негодовал и молча прикидывал, в какую сумму обойдется «благородство» приезжего коммерсанта.

Елене Павловне не пришлось долго уговорить супруга. Он отправился к Грегу с «выражением признательности» уже на другой день, ибо, чем дольше Николай Степанович чувствовал себя должником негодного человека, тем сильнее вскипало в нем раздражение. Необходимо было расплатиться как можно скорее, причем таким образом, чтобы и сама сделка, и уплаченная сумма, остались бы для всех тайной.

Вечером, когда состоялся визит к Грегу, доктор Коробейников, как всегда усталый вернулся домой. По его гневно сверкающим глазам было видно — встреча произвела на него неизгладимое впечатление.

«Это что-то неслыханное, — кричал Николай Степанович срывающимся голосом, тяжело перемеряя углы в гостиной, где Жекки вместе с сестрой разбирала ноты к предстоящему музыкальному вечеру. — Вообразить себе не мог ничего похожего. Представляете, он принял меня в своих апартаментах — он там снимает, видите ли, сразу три смежных номера, чуть ли не весь этаж.

Вышел ко мне навстречу в нижнем белье, одной рукой прикуривая у коридорного мальчишки сигару, а другой — натягивая штаны. Что? Конечно, пьян. То есть не то, чтобы... однако уж точно не трезв. Делал вид, что просит извинить, а сам с нахальной мордой отшвыривал за кресла какие-то женские тряпки и отпихивал ногой под диван пустые бутылки. Видите ли, не убрано. Каково, а? Как будто я мог восхититься всей этой грязью или он думал таким образом поразить меня? Свинья...

Нет, ну что бы вы думали? А ведь я слышал, будто бы он хорошо образован, что не чета всем этим нашим богатым купчикам, которые бесятся от шальных денег. Про него говорили, что он, видите ли, представитель уже европейского типа коммерсанта, типа, который набирает силу и у нас, и что... А-а, да чепуха все это. Зря только уши развешивал. Я больше скажу. Если таков тип новый и, как нам хотят показать поборники отечественного капитала, улучшенный вариант дельца, то я предпочитаю иметь дело со старым. Тот, по крайней мере, не корчит из себя цивилизованного человека, а ведет себя согласно своим первородным инстинктам. Этот же прячет под европейской выделкой нутряное гнильцо с самодовольством, которое у приличных людей не может вызвать ничего, кроме тошноты.

Да, разумеется, поговорили. Не бежать же мне было от него сломя голову, в самом деле? Так, ничего особенного. Предложил выпить — я, разумеется, отказался. А потом, не с того, не с сего, да еще с каким-то обидным недоверием: «У вас есть дочь?» — «Что-что?», — не понял я. — «Не пускайте ее на солнце». Шута что ли он вздумал передо мной разыгрывать, не знаю. Я в двух словах объяснил, что Юра, с которым он... словом, произошла эта история, что он — старший, а Женя родилась совсем недавно, и что его недоумение кажется мне странным. Он расхохотался во все горло. Даже люстра под потолком задребезжала. Впрочем, и без всяких его выходов было понятно — никакой признательности от нас ему не нужно. Едва ли он вообще способен оценить что-то, кроме смачной оплеухи. Ей богу, я едва удержался. В общем, дорогие мои, повидав этого, с позволения сказать, представителя народившегося русского капитала, я с удовольствием признаю — старина Маркс тысячу раз прав, и дни буржуазии, как паразитического нароста на теле человечества, уже сочтены».

Мысль, заключенная в последней фразе, вероятно, действительно слегка успокоила Николая Степановича. Он вздохнул, и, устало усевшись за стол, попросил себе чаю.

Разговор с Греггом и точно подействовал на

него скорее как отрезвляющий душ. Однако первая же попытка заговорить о денежной стороне вопроса, произвела неожиданный эффект — заезжий делец рассмеялся. Доктор подавил оскорбленное недоумение, смешанное с неожиданным приливом странной симпатии.

Вспоминая теперь о красочном монологе своего шурина и поднимаясь по высоким каменным ступенькам гостиницы, Жекки с ехидцей подумала, какой нежелательной должна будет показаться Николаю Степановичу случайная встреча с одним из здешних обитателей. Но, подумав о докторе, она тотчас сообразила, что для нее самой такая встреча будет еще нестерпимей. «Избави Бог», — пронеслось у нее в голове. Немного утешало лишь, что в случае чего, при столкновении с «новым типом» у нее будет надежный союзник в лице недалекого родственника. Про Аболешева в качестве союзника, она, понятно, даже не вспомнила.

XXIII

Гостиничный ресторан располагался на первом этаже и по праву считался самым роскошным заведением в городе. В ярко-освещенном зале, показавшемся после грязной полутьмы улицы чем-то вроде ослепляющей

сказочной пещеры Алладина, наполненной многоцветными переливами золота, рубина и хрусталя, в одной условной половине, образованной рядом колон белого мрамора, шла шумная купеческая гульба. В другой — более тихой, за разрозненными столиками расположилась прочая публика. Вышколенные официанты в черных фраках и белых передниках сновали между рядами под строгим надзором осанистого человека с умным взглядом — метрдотеля Жирова, известного тем, что когда-то он служил помощником управляющего в знаменитой «Лоскутной» в Москве.

Из купеческой части зала доносился густой гул голосов, прерываемый пьяными вскриками, всхлипами и взрывами страшного гогота. На небольшой эстраде играл русский оркестр: с полдюжины крепких парней в малиновых шелковых рубашках с балалайками, гармониями, бубном, деревянными дудками и трещоткой. Воздух разрывался от разухабисто-задорной плясовой. Некоторые, особо развеселившиеся купцы, подначенные собственной удалью и зазывной мелодией, пробовали прямо в проходах возле столов изображать путаные приемы неопознанного народного танца но, не встретив поддержки, под общий смех один за другим возвращались на свои места.

Жиров предложил доктору Коробейникову и его спутникам занять свободный столик в «тихой» части заведения. Как только к ним подошел официант, Жекки попросила воды.

— А по-моему в здешних кутежах что-то есть, — сказала Елена Павловна, радостно оглядывая шумящий зал.

— Да-с, и кормят здесь, кажется, на славу, — поддакнул доктор. Он в это время внимательно прочитывал меню.

Жекки, постепенно приходила в себя, отпивала воду и с опаской посматривала на Аболешева. Тот по обыкновению молчал, и хотя весь вид его демонстрировал покорное приятие всего, чтобы здесь ни происходило, Жекки понимала, что он переносит свое присутствие в этом кругу, как тяжкую повинность. Особенное беспокойство вызывал у нее русский оркестр. Жекки боялась, что Аболешев вот-вот не выдержит какого-нибудь замысловатого коленца, выписанного балалаечниками, и без объяснений покинет ее, как в синема. Тогда придется уйти вслед за ним, и получится что-то вроде семейного скандала. Но, приглядываясь к мужу, она все больше успокаивалась — Аболешев, кажется, вообще не обращал внимания на окружающую какофонию. Ему только что подали заказанный ростбиф, и его глаза со странным вниманием

вперились в мясной ломоть, пламенеющий среди мелко нарубленной зелени.

Между тем, бойко сыгранную плясовую сменила протяжная и грустная трель. На эстраде появилась дородная девица в алом сарафане. Волна купеческого гула при ее появлении пошла на спад. За столиками тихой публики разговоры тоже начали обрываться на полуслове, и от одного к другому шепотом стали передаваться восклицания: «Она, она, Стеша». Очевидно, певица была хорошо известна завсегдатаям инских ресторанов и ярмарок. Сложив пухлые ручки чуть пониже выдающегося бюста, и уставив поверх голов слушателей красивые большие глаза, она затянула глубоким, очень хорошо поставленным сопрано:

*Нет, не любила я! Но
странная забота
Теснила грудь мою,
когда он приходил;
То вся краснела я,
боялася чего-то, —
Он так меня любил,
он так меня любил!*

— Что это она такое поет? — спросила Елена Павловна, обращаясь не то к доктору, не то к Жекки.

— Не знаю, — как-то подчеркнуто скоро отозвался Николай Степанович. — Ты слушай, слушай. По-моему, недурно звучит, а?

Елена Павловна не ответила. Романс приковал к себе внимание всех, кто был в зале, за исключением официантов, продолжавших бесшумно сновать между столами. Жекки, также никогда прежде не слышавшая этой песни, с любопытством, но и с некоторым принуждением, сосредоточилась на звучании мягкого женского голоса, слегка заглушаемого чересчур ретивыми аккомпаниаторами в малиновых рубахах.

*Но раз он мне
сказал: «В ту роцу в час
заката*

*Придешь ли?» —
«Да, приду...» Но не
хватило сил;*

*Я в роцу не пошла,
он ждал меня напрасно!
Он так меня любил,
он так меня любил!*

Нет, слова сами по себе не особенно трогали, но вот в сочетании с музыкой, и особенно — заоблачно плывущим голосом Стеши, кого угодно могли довести до безмолвного грустного столбняка.

Правда Жекки, без какой бы то ни было задней мысли, как часто с ней случалось, пренебрегла господствующим настроением ради практической выгоды. Она решила воспользоваться нечаянно наставшим, коллективным сомнамбулизмом, чтобы, не слишком привлекая к себе внимание, пройти в дамскую комнату. В отличие от сентиментальной сестры, Жекки слыла толстокожей и даже не была достаточно музыкальна, чтоб оценить мастерство исполнителей романса, который был попросту не достаточно хорош. Поднявшись, она мельком бросила взгляд на Аболешева. Тот сидел, опустив глаза, напоминая слегка захмелевшего джентльмена из недавно просмотренной фильма.

В холодном вестибюле, из которого нужно было повернуть налево, Жекки на минуту скорее машинально, чем по необходимости, задержалась перед огромным старинным зеркалом в причудливо свитой из тяжелых бронзовых жгутов раме. Зеркало было мутно от старины. Жиров не раз хвастался перед знатными постояльцами, что этот ценный предмет интерьера был выписан когда-то из Венеции чуть ли не при личном посредничестве светлейшего князя Потемкина для его нового, строившегося в ту пору петербургского дворца, но не подошел по размеру и с досады был подарен тогдашнему нижеславскому наместнику, от которого перешел каким-то кружным путем к

хозяину дома, переделанному потом под гостиницу. Отражавшиеся в зеркале фигуры получались всегда как бы слегка полустертыми, будто проходящими сквозь голубовато-серую дымку, не то времени, не то зазеркальной мглы.

Жекки глянула в это непрактичное сооружение, на ходу подправив гребень, сдерживавший ее тугие блестящие волосы. Еще раз подивилась возникшему неясному отражению. Оценила, что так оно, пожалуй, даже привлекательней, чем в новом, не искажающем действительности, и уже хотела идти дальше, как вдруг поняла, что не может сдвинуться с места. Сердце за долю секунды пронзила ледяная игла ужаса. В зеркале чуть повыше собственного лица она увидела улыбающуюся, подернутую все той же дымчатой поволокой, физиономию с ехидными угольными глазами и вздернутыми тонкими усиками. Грег...

Показавшись всего на мгновенье и проскользнув, точно черная тень по зыбкому стеклу, отражение отступило вглубь зеркала, но внезапно снова выплыло из небытия, размытое в туманных волнах зазеркальной дымки. Та же самодовольная физиономия: черный холодный прищур и приподнятый в насмешке тонкий холеный ус над изогнувшейся верхней губой. Жекки не успела опомниться, как неприятное лицо

снова исчезло, захваченное наплывом мглистого сгустка. Это странное мерцающее видение, казалось, никак не могло утвердить себя на скользкой поверхности отражающего его стекла. Или само стекло, столь легко вбирающее чистые световые лучи, колебалось то, принимая, то, отталкивая предложенную ему комбинацию разнородных частиц сомнительной плотности. И эта ни на что не похожая, явно зловещая неопределенность, продлившись секунду-другую, наконец, завершилась победой физических законов. Жекки увидела совершенно отчетливо отраженное одновременно с ней, хотя и опутанное по-прежнему все той же голубоватой пеленой, насмешливую улыбку Грега и его широкоплечую фигуру в безукоризненном черном костюме с элегантным уголком белого платка в левом кармане. «Что же это такое, — пронеслось у нее в голове, — что за фокусы?»

Но обдумать что-то как следует, не было времени. Зеркальный Грег повторял живой оригинал, который Жекки уже чувствовала вполне осязательно. Нависнув над ней, точно черная скала, он полушутя изобразил светскую любезность.

— Апухтин — прекрасный автор безвкусных романсов, не правда ли? — сказал он, впиваясь взглядом в ее отражение. — По-моему, подлинная поэзия вообще не поддается переложению на ноты,

потому что сама не что иное, как музыка.

Жекки не находила слов. Удивление, испуг и растерянность — не слишком хорошие подсказчики. Прежде всего, она не была уверена в том, кто такой Апухтин. Кажется, композитор, автор этого романса, который она не дослушала. И напрасно — могла бы потерпеть пять минут, чтобы потом не раскаиваться весь оставшийся вечер. Но тогда при чем тут стихи? Выдать свое невежество было немыслимо. Промолчать — конечно, уместней всего, но вот какой предпринять шаг, чтобы поставить нежданного пугающего знакомого на место или попросту избавиться от его общества? Жекки терялась между соблазном убежать сломя голову назад в зал, намерением спокойно пройти дальше в дамскую уборную и желанием вцепиться Грегу пощечину.

Продолжая наблюдать ее в зеркале, Грег невозмутимо поправил белоснежный воротничок и как бы невзначай провел пальцами по огненно сверкнувшей в галстук драгоценной булавке. Жекки видела, что он наслаждается ее растерянностью и, как ни старалась, слишком долго, наверное, целую вечность, не могла оборвать его торжества.

— Позвольте пройти, — сказала она, наконец, с неоправданной резкостью развернувшись на каблуках, и решительно направилась в сторону

дамской комнаты. «Еще не хватало, чтобы он подумал, будто может меня напугать». Отступив перед ней со всей возможной учтивостью, Грег, однако, какое-то время продолжал стоять возле зеркала.

Жекки всей данной ей от природы чувствительностью спинного мозга ощутила, изнемогая под тяжестью этого чувства, едкий сопровождающий ее взгляд, как будто многократно усиленный за счет зеркального повторения. Затихающий в отдалении смешок облил ее зыбким холодом. Если бы у нее в эту минуту был при себе револьвер, она с удовольствием разрядила бы его в широкую черную спину, мелькнувшую в ее взвинченном воображении. За неимением револьвера пришлось ограничиться мысленным ругательством. Произнести что-то подобное вслух она не посмела бы, даже в дамской уборной.

XXIV

Вернувшись в зал, Жекки сразу заметила перемены. Стеша сошла с эстрады, переместившись за стол к кому-то из страстных купцов-поклонников. Русский оркестр подыгрывал новому солисту — молодцеватому парню в кумачовой рубашке, лихо разрубавшему воздух попеременными выпадами всех четырех

конечностей и производившему такие замысловатые выкрутасы, что любители отечественных народных плясок (особенно из купцов) улюлюкали и подсвистывали от удовольствия.

Но потрясло Жекки совсем не это. Обходя накрытые столы и наткнувшись глазами на слегка ссутуленную спину Николая Степановича, она едва не споткнулась на ровном месте, потому что рядом, за тем же столом, увидела... Сначала она даже не поверила своим глазам. Но, похоже, наглость этого господина не знала границ.

Грег преспокойно сидел напротив доктора Коробейникова между Еленой Павловной и Аболешевым и, как показалось при приближении, с большим воодушевлением принимал участие в милой болтовне, как будто бы вновь нечаянно объединившей старых знакомых. Впрочем, Аболешева следовало исключить из числа «мило болтающих». Тем не менее, Жекки заметила вполне расслабленную фигуру мужа. Преувеличенно бесстрастное выражение на его лице означало более чем обыкновенную заинтересованность в собеседнике. Николай Степанович был явно сконфужен. Что до Елены Павловны, то одного беглого взгляда было довольно, чтобы понять — сейчас она чувствует себя единственным центром притяжения мужского внимания, при том,

внимания чрезвычайно занимательного и лестного для себя, и, следовательно — как никогда довольна.

— Жекки, боже мой, где ты пропадала столько времени? — негромко воскликнула она, увидев сестру. — Мы уже начали беспокоиться. Вот познакомься, — Ляля слегка кивнула на Грега, который, судя по всему, давно заметил Жекки. — Грег... тот самый знаменитый хозяин авто, благодаря которому наш Юра... ну ты помнишь, я тебе рассказывала.

— Что?... Нет, я как-то не совсем... — вполголоса пробормотала Жекки. — И потом, ты же знаешь, — прибавила она, стараясь не замечать испуга, застывшего на Лялином лице. — У меня плохая память на фамилии. Я вечно их забываю.

— Только ради бога, Грег, не примите это на свой счет, — поспешила прервать ее Елена Павловна. — Моя сестра, Евгения Аболешева. Она... вы должны ее извинить.

Будто не расслышав Лялиной оговорки, Грег одарил Жекки восхитительно любезной улыбкой.

— Какая приятная неожиданность, — сказал он с видом чистейшего простодушия, — вот уж никак не думал... Польщен и счастлив.

«Не думал?... он что же, за дурочку меня принимает? Нарочно явился сюда, а теперь еще насмехается». — От возмущения Жекки готова была разорвать его на тысячи мелких кусочков.

Только необычно напрягшийся взгляд Аболешева удерживал ее от непоправимой грубости. Этот взгляд следил, не отрываясь, сковывая и как всегда, исподволь подчиняя себе.

— А вы совсем не похожи на вашу сестру, — откровенно продолжил Грег, обращаясь уже подчеркнуто к Ляле. — И можете мне не верить, но вопреки строгому суждению Евгении Павловны, я готов утверждать... я бы сказал, у меня вполне определенное чувство, что мы с нею давно знакомы, и даже встречались совсем недавно.

Жекки почувствовала, как мурашки зашевелили ей спину.

— Совершенно невероятно, — тотчас возразила Елена Павловна. — Они только вчера приехали из деревни, и еще нигде не успели побывать.

— Разве что в синема, — предположил Николай Степанович.

— А вы были в синема? — удивился Грег.

— Только что оттуда.

— И как вам понравилась фильма?

Неизвестно к кому именно обратился Грег, но ответить ему с величайшей охотой пожелала Елена Павловна. Она все еще продолжала чувствовать сильное возбуждение. Вся окружающая обстановка и особенно внимание необычного человека, столь явно выказывающего ей расположение, разжигали в

ней подзабытый огонек самодовольства.

— Фильма на редкость пошлая, — сообщила Елена Павловна, на всякий случай искоса взглянув на Николая Степановича. — В прошлый раз мы смотрели американскую комедию с каким-то забавным клоуном, так та, по крайней мере, была уморительна по-настоящему. В этой же все дешево и фальшиво.

— Ну, Лялечка, не преувеличивай, — попробовал заступиться доктор, — такова особенность жанра, тут ничего не поделаешь. Правда, вот Аболешев ушел, не досмотрев. Так что, видно, вы люди с чувствительной организацией, в самом деле, смотрите слишком серьезно и всюду видите фальшь, там, где надо всего лишь немножко расслабиться.

— Просто я заскучал, — довольно неожиданно для всех сообщил Павел Всеволодович. — А фильма была безвкусна не более, чем этот зал или улица, по которой мы ехали. Только тапер перебирал с пафосом.

— Вот-вот, — поспешила встрять Ляля, — перебор — это самое верное определение всего этого новейшего действия, и вот почему от него все словно с ума посходили, особенно здесь у нас, в глуши, где редко гастролируют хорошие артисты, и люди годами не видят ничего, кроме балаганного искусства заезжих циркачей. Перебор, излишество,

назовите как угодно. Вот вам и удар по хорошему вкусу, потому я и упомянула про фальшь. Разве вы ее не заметили?

Аболешев вяло пожал плечами.

— Если бы не тапер, я бы не нашел недостатков, — сказал он.

— Тогда почему же ты ушел? — усомнился доктор.

— Я же сказал — тапёр. Все дело в нем.

Жекки не очень-то хотелось ввязываться в этот малоинтересный спор. Она чувствовала, что не готова к серьезным разговорам. Из всех возможных общих тем, пользующихся спросом, тема искусства была самой проигрышной для нее. Хуже могла быть только политика, но ее, слава богу, вряд ли стали бы обсуждать в обществе малознакомого лица, то бишь, Грега.

— ...признать его, если только это искусство, — не унималась Ляля. — Синема, по-моему, ближе всего стоит к цирку, но ведь не станете вы утверждать, что цирк оставит по себе какой-то бессмертный след? Нельзя же, в конце концов, объединять простонародное сиюминутное развлечение с тем, что останется в вечности.

— В вечности, по счастью, не останется ничего, — опять неожиданно для всех и с прежней холодностью произнес Аболешев.

— Ну, этого, дорогой Павел, мы знать не

можем, — осторожно заметил Николай Степанович. — Хотя я и не признаю, само собой, возможности загробного мира. Хотя бы потому что, будучи конечным, не могу рассуждать о том, что не поддается измерению.

— Что ж, ты не столько возразил, сколько поддержал меня, — заключил Аболешев, и по тому, как он расслабленно откинулся на спинку стула, Жекки поняла, что он устал разговаривать.

— Ну а что же музыка? — вдруг спросил Грег. Он прямо посмотрел в глаза Аболешеву с явным намерением добиться от него столь же прямого ответа. — Разве и для нее вы не делаете исключения?

— В самом деле, Павел Всеволодович, — тут же подхватила Елена Павловна. — Ведь иные, быть может, и излишне экзальтированные меломаны полагают, что настоящая музыка проникает к нам не иначе, как из того самого предвечного мира, реальность которого вы сейчас отрицаете, и что в истинных своих проявлениях она ни больше ни меньше, как отзвук иного, невидимого.

— Дуновение голубого эфира, — почему-то счел нужным вставить не без иронии доктор.

— Синего, — вполголоса произнес Аболешев.

— Что? — неуверенно переспросил Николай Степанович, выразив, кажется, общее непонимание.

— Нездешний свет — синий, — пояснил

Аболешев.

По его виду сейчас никто бы не мог сказать, поддерживает ли он Николая Степановича с его иронической интонацией или говорит серьезно.

— Но вы же не можете опровергать вневременность музыки? — попыталась прервать наступившую заминку и настоять на своем Ляля.

Жекки бросила на сестру недовольный взгляд, посмотрела на Аболешева и почувствовала, как засадило в эту секунду его сердце. Среди всех оттенков бесстрастности на его лице отчетливо выплыло выражение задавленной боли, смешанное с более характерным для него легким презрением не то к окружению, не то к самому себе. Не желая смотреть на Грега, Жекки, тем не менее, почувствовала исходящую от него бравурную триумфаторскую волну. Если бы она могла выразить этому наглецу всю меру своего негодования, весь накал разгоревшейся внутри ненависти, то, наверное, это хотя бы отчасти возместило ей тяжесть теперешнего соперничества мужу. Но ни о чем подобном нельзя было даже мечтать.

Ожидание ответа, между тем, явно затягивалось. Все взгляды, обращенные на Аболешева, стали по-разному напряжены, но сам Павел Всеволодович молчал, как ни в чем не бывало. Его невозмутимость и твердое нежелание

отвечать мало-помалу начали производить впечатление чего-то естественного. В итоге в неловком положении оказались все те, кто побуждал его к этому молчаливому обособлению.

— Скажите, Аболешев, вы любите музыку? — с новой отточенной прямоотой обратился к нему Грег, упрямо рассчитывая добиться какой-то своей, по всей видимости, вполне определенной цели.

— Вовсе нет, — сказал Аболешев, переводя глаза куда-то в сторону.

— Как так? — Ляля оторопела. — Вы, должно быть, шутите? Но вы же все время музицируете, не говоря о том, что не упускаете случая послушать других, и неужели же вы можете...

— Просто я не знаю ничего лучше, — прозвучало в ответ откуда-то со стороны, поскольку Павел Всеволодович все еще рассеянно осматривал аляповатый интерьер зала, как будто слегка удивляясь тому, что очутился в таком странном месте.

XXV

— Вот те на, — буркнул Николай Степанович и, вероятно, пожелав сгладить общую неловкость от этого эпизода, добавил довольно глубокомысленно: — Как всегда, принявшись говорить об абстракциях, мы упираемся в стену, а по сему, я

умываю руки. К тому же, Павел убежал из синема, а я-то, признаюсь, досмотрел фильму до конца и с преогромным удовольствием.

— А я не понимаю, как можно всерьез воспринимать всю эту бутафорию, — с волнением повторила себя Ляля. — Все эти размалеванные физиономии, высокопарные жесты, дикая мимика просто ужасны. Жекки вот чуть не разревелась. Разве не странно? Просто не понимаю.

— А вот это уж никуда не годится, — заметил Грег.

Жекки почувствовала, как за несколько минут изменилось настроение этого человека. Казалось, он совершенно перестал замечать ее. Зато то и дело бросал напряженные взгляды на Лялю. Он с неподдельным любопытством прислушивался к ее многословным изречениям, тогда как фразы Лялиных оппонентов словно нарочно процеживал сквозь сито обостренной симпатии к ней, не оставляя им ни малейшего шанса быть одобренными. «Ну и прекрасно, — подумала Жекки с необъяснимым стеснением, — может, его угораздит даже влюбиться в нее. На здоровье». В самом деле, ощутив эту внезапную охлаждающую перемену, Жекки незаметно для себя перестала испытывать угнетенность от присутствия Грега, хотя что-то необъяснимое не позволяло ей полностью избавиться от нее. «Самое главное,

чтобы сестрица не увлеклась».

— Синема, пожалуй, еще не заслуживает названия искусства, — сказал после недолгой паузы Грег, — и в этом вы, Елена Павловна, безусловно, правы. Пока оно слишком грубо и непритязательно, но я... Знаете, я смотрю на него с немалой надеждой. Как человек меркантильный, я даже позволил себе вложить кое-какие средства в нашу крымскую студию.

— Вы владелец киностудии? — воскликнула Ляля.

— Точнее — совладелец. Стараюсь не отстать от века. Фильмовая промышленность уже сейчас довольно прибыльна, но я думаю, в будущем сможет приносить намного больше. Кстати, как называлась картина, которую вы смотрели?

— Ой, — с досадой проговорила Ляля, — ведь только что помнила. Как-то так замысловато... Что-то такое... Ты не помнишь? — обратилась она к мужу. — Помню актриса — мадмуазель Тимм. И что-то такое словно бы красное с черным.

— Мертвые цветы, кажется, — сказал доктор Коробейников.

— Горящие цветы, — не выдержала Жекки, вынужденно взглянув на Грега.

— Правильно, — подтвердила Ляля. — Как это я забыла.

— Ах, это. Ну, в таком случае, — протянул

Грег все с той же успокоительной манерой благодушного невнимания к Жекки, — могу сообщить, что ее соорудили у Стоженкина наши злейшие конкуренты. Неужели вам понравилось? — и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Сам я мало что смыслю в синема, и вообще фильмы, как и спектакли, ставят режиссеры. А я просто вижу ежемесячные отчеты о доходах, расходах, о уже отснятых картинах, готовых к показу. Словом, я денежный мешок для этих самых цветов.

— Как это ужасно звучит, — вздохнув, сказала Елена Павловна. Ее искренность не могло поколебать даже желание понравится приятному ей человеку. — Вы не находите?

— Нимало, — ответил Грег. — По-моему, все, что перетекает в мой карман, звучит восхитительно.

— Ну, это уж слишком, — чуть не шипя, восстал Николай Степанович, — Послушайте, вы, вы, милостивый государь... нельзя же так, в самом деле. Разумеется, ваша откровенность, делает вам честь, но не сочтите за труд, воздержитесь от нее хотя бы в нашем присутствии. Во всяком случае, прошу учесть, что я не намерен далее сносить... мм...

Лицо доктора словно бы сузилось, голос стал прерывистым. Окончание фразы застряло у него где-то под языком, затвердевшим от гнева.

— Да, полноте, Николай Степанович, — Грег нехотя улыбнулся. — Чему вы так возмутились?

— Разве я возмутился? — Доктор нервно переставил пустой бокал, зачем-то переложил с места на место нож и вилку. — Я... я восхищен.

Само собой, в эту минуту ему следовало обрушить на противника неудержимую лавину гнева, презрения, хорошо продуманных аргументов, статистических данных, избличающих во всей полноте преступную подноготную капиталистического хищничества, а заодно и всех его беспринципных адептов. Но вместо этого Николай Степанович растерянно моргал, смотрел куда-то вдаль и как будто сквозь, и видел перед собой не насмешливый прищур нахального дельца, а покосившийся серый дом на фоне унылого неба — небольшой фельдшерский пункт в Новоспаском, куда третьего дня ездил с инспекций. Почти семь лет он добивался, чтобы там открыли волостную больницу, всего лишь вторую волостную больницу в уезде, чтобы, по крайней мере, из ближайших деревень мужики обращались туда, а не тащились за тридевять земель в Инск. Но ни у казны, ни у земства не находилось средств. Вместо больницы открыли фельдшерско-акушерский пункт. Акушерка, Нина Савельевна, да фельдшер — вот и весь персонал. По их словам, каждый день привозят больных,

роженец. А куда их девать? Этот пункт не обеспечит и четверти потребностей. Вспомнил, как по приезде прооперировал бабу с неправильным положением плода. Ребенок умер, а баба осталась жива. Потом вышел на крыльцо. Мимо медленно шли старик, две бабы с девчонкой, а впереди мужик с небольшим ящиком на плече. Пригляделся — сколочен кое-как из плохих досок, не сразу даже догадался, что он такое. Шли тихо, молча, бесчувственно. «У этих и покрестить не успели, — пояснила Нина Савельевна, — так за оградой закопают. Помер младенец на второй день, как родился. Кажется, мальчик». С ее же слов, в Новоспасском каждую неделю хоронят по пять-шесть младенцев. Тамошнее приходское кладбище пользуется популярностью. Из ближайших деревушек свозят хоронить туда же. Что ж, младенческая смертность — явление в здешних краях столь заурядное, что сами мужики не считают смерть своих новорожденных слишком большим горем. Впрочем, их равнодушие к смерти общеизвестно, и кажется, идет от равнодушия к жизни. Хотя, собственно, он всего лишь врач, и ему нет дела до их философии. Ему нужно работать. Только и всего.

Николай Степанович оглянулся. Грег все еще нахально шурился, разглядывая его и будто бы смакуя нечто забавное.

— Прошу простить меня, господа, — сдавленно проронил Николай Степанович и озлобленно сверкнул на Грега из-под пенсне.

— Мне, право, не за что вас извинять, — немедленно возразил Грег.

— Полноте, господа, — умоляюще воззвала к ним Ляля. — Мы все вправе быть хоть иногда искренними, а значит — не к чему эти ваши упреки друг другу. Я полагаю, вы найдете много общих тем для более приятных разговоров. Надеюсь, Грег, вы не откажете пожаловать к нам в субботу? Небольшое сборище любителей хорошей музыки отвлечет вас от дел. Вы ведь не имеете ничего против музыки?

— Благодарю вас, Елена Павловна. Я приду.

Легкая медлительность, предшествовавшая его согласию, наверняка была непредумышленной, случайной. И лишь обостренный до предела предубеждением и непонятной взволнованностью слух Жекки едва-едва уловил в его ответе тщательно скрытое смущение. Да, ведь он согласился прийти, но ничего не сказал о своем отношении к музыке. Последний вопрос Ляли — зеркальное отражение того, что он сам совсем недавно навязывал Аболешеву, — так и повис в воздухе.

Соломон Иванович Шприх ни капельки не удивился, получив от известного ему инского агента предписание явиться в пятницу к шести часам вечера для встречи с Охотником в маленький пригородный трактирчик, расположенный в Волковой слободе или Вилке, как коротко называли ее местные жители из-за своеобразной двузубой топографической формы.

Под именем Охотника Соломон Иванович знал своего давнего покровителя и куратора по секретной службе в сысской полиции. Можно даже сказать, он ожидал встречи с ним, поскольку торговые дела в Инске заканчивались, а передача всех необходимых сведений через бестолковых местных агентов — двух горьких пьяниц и склочников — становилась все затруднительней по многим причинам. Предстоящий же в самом скором времени отъезд из города и вовсе лишил бы Соломона Ивановича возможности изложить в полном объеме ту информацию, которая, по его мнению: 1) имела большую ценность 2) могла повлиять на дальнейший ход событий, 3) в силу перечисленного, требовала достойного, компетентного слушателя и, наконец, 4) по тем же причинам, заслуживала достойного вознаграждения.

Соломон Иванович не ошибся, когда

преподнес в последнем донесении некоторые обстоятельства порученного ему дела таким образом, чтобы внушить начальству дополнительный интерес, не без оснований ожидая самого скорого отклика. И надо сказать, интуиция, давняя неуловимая и верная подсказчица, не подвела его. Назначенная на пятницу встреча с Охотником стала, как думалось Соломону Ивановичу, непосредственной реакцией именно на то последнее донесение, в котором говорилось о незаконной скупке земли в Инском уезде. Таким образом, поездка на Вилку представлялась ему в известном смысле наградой.

Вилка — самый дальний инский пригород, полуостров, уходящий двумя узкими береговыми зубцами в речную даль. В прежние времена он был заселен исключительно рыбаками и некоторым числом мелких торговцев, привязанных к рыбному промыслу. Но, по мере разрастания города и увеличения благосостояния его жителей, удаленное и несколько обособленное местоположение рыбацкой слободы, стало привлекать к ней внимание разного рода темных личностей, мечтавших по каким-либо причинам укрыться на время от внимания общества, и одновременно — личностей прямо противоположных по складу, но так же нуждающихся во временном обособлении. К последним относились страстные любители

азартных игр и вольной, ни чем не стесненной, разнузданной гульбы на широкую ногу.

Так на Вилке появилось несколько полуофициальных злчных мест, посещение которых людьми из так называемого «порядочного общества» не только не афишировалось, но категорически осуждалось. Нарушение этого неписанного табу неизбежно закрывало перед «виновными» двери всех приличных домов. При этом в Инске, да и пожалуй, во всем уезде, едва ли нашелся хотя бы один уважающий себя купец, помещик, городской чиновник — добродетельный муж, почтенный отец семейства, — хотя бы раз тайно, под страхом жестокого разоблачения, не побывавший в каком-нибудь из тамошних заведений. Не было ни одного ученика старших классов, который бы не мечтал втихомолку хоть одним глазком увидеть, что происходит за стенами вертепа, громогласно проклинаемого всеми и оттого имевшего нестираемую печать притягательности. Смельчаки, проникнувшие за обозначенный предел дозволенного и поделившиеся затем впечатлениями, немедленно становились тайными героями внутри своего узкого кружка. К широкой известности никто из них, разумеется, не стремился.

В ярмарочные дни притоны на Вилке наполнялись толпами приезжих. Благодаря им

примерно за один месяц владельцы сомнительных заведений получали доходы, позволявшие им безбедно переживать наступавшие вслед за тем времена относительной скромности и воздержания. Гомерические пиры в тамошних трактирах с музыкой и откровенными танцами, горы золота, выброшенного на зеленое сукно, громкие скандалы и драки, нередко кончавшиеся смертоубийством, яркие ночные фейерверки, осыпавшие разноцветными звездами прилегающие окрестности, — все это стало неотъемлемой принадлежностью жизни города во время ежегодных ярмарок и в слегка приглушенном варианте сопровождало ее повседневно.

Темные, грязные улочки некогда смирной слободы вообще пользовались самой невыгодной репутацией. Вилка считалась не только рассадником всяческих безобразий, но и убежищем беглых преступников, едва ли не общеизвестным местом укрывательства самых отпетых злодеев не только Нижеславской, но и близлежащих губерний. Причем странным образом ни у полиции, ни у гражданских властей, не смотря на всем известное положение дел, до разорения этого «осинового гнезда» как-то не доходили руки. Напротив, стражи порядка очень редко навевывались на Вилку, и по слухам, служивший там бессменно уже лет двадцать участковый пристав Никодим Федотыч

слыл среди вилкинских обитателей своим человеком.

Приехав на Инскую ярмарку вместе с Греггом, Соломон Иваныч весьма скоро приобрел необходимые им по делу знакомства, в том числе среди завсегдатаев Вилки. Ему с патроном даже пришлось первое время, пока у Грега было игривое настроение, прожить в меблированных комнатах, устроенных для пущего удобства публики прямо в верхнем этаже главного тамошнего игорного дома. Так что Шприх успел очень неплохо узнать бывшую рыбную слободку, принятый там образ жизни, царившие среди ее жителей нравы, равно как и всех сколько-нибудь заметных гостей, наведывавшихся туда в определенные дни из Инска или Нижеславля. Поэтому, узнав о месте предстоящего свидания с Охотником, он не мог про себя не одобрить выбор начальства. Более безопасного уголка для частных встреч нельзя было и придумать.

Ровно в половине шестого пятничного вечера Соломон Иваныч как бы невзначай поймал на Садовом Бульваре извозчика и велел везти себя к трактиру «Выпь».

Пролетев стремглав по Бульвару и свернув на набережную, извозчик осадил чалую кобылку — там, где заканчивался свет последнего городского фонаря, в наступивших сентябрьских сумерках

дорога превращалась в малоразличимую полоску земли. Городская набережная очень скоро перешла в обычную сельскую дорогу, проложенную вдоль берега. Езда становилась все неспешней и тягостней.

Лиловая сумеречная мгла, перетекая в такую же мутную даль, розовеющую на западе, окутывала все, что еще мог различить человеческий глаз, какой-то зыбкой неподвижной пеленой. Темные кусты и нависающие над дорогой ряды деревьев образовывали непроницаемую безмолвную стену, за которой должно было скрываться что-то недоброе. От широкого речного простора, опутанного той же двойственной лилово-розовой паутиной, тянулся прохладный свет. Слабый ветер доносил с берега запах древесной гнили и тины. Было почти по-летнему тепло и как-то пусто, как будто внутри стеклянной банки, возможно из-за близости большой, уже уснувшей реки, а возможно все из-за той же обвивающей все стеклянным сумраком ранней вечерней мглы, приглушающей шумы и стирающей границы предметов.

Соломон Иваныч поживался. Наконец, за очередным изгибом дороги, впереди показалось несколько огоньков, словно бы мерцающих поперек реки над водой. Это были огни Вилки. Вслед за тем, по береговым откосам показалось сразу несколько лодок, перевернутых вверх днищем. Их черные

силуэты отчетливо напоминали спины больших рыб, выброшенных на берег. Вскоре послышалось глухое тьяканье собаки, какие-то нечленораздельные голоса и вполне явное, но все еще смазанное глубиной расстояния, звучание духового оркестра.

Через пять минут копыта лошади уже звонко стучали по деревянному настилу. За настилом начинался небольшой мост, упирившийся в двухъярусную частную пристань — трактир «Выпь». Расплатившись с извозчиком, Соломон Иванович прошелся, размял ноги. Встал, облокотившись о перила моста, глянул на растворенные в воде маслянистые пятна света, бьющего из окон трактира-поплавка. Прислушался к дальним уплывающим звукам веселого вальса, и, щелкнув крышкой золотых часов, озабоченно взглянул на циферблат. Часы показывали ровно шесть.

— Не беспокойтесь, — услышал он за спиной тихий голос, — вы не опоздали.

Соломон Иванович оглянулся, чувствуя себя застигнутым врасплох, хотя вроде бы не ожидал встретить опасность. В двух шагах от него на мосту стоял невысокий коренастый человек, одетый явно не по погоде в теплое толстое пальто, черную каскетку со сдвинутым к носу козырьком и обмотанный поперек поднятого воротника

полосатым шарфом. Полутьма и шарф скрывали лицо человека, и дабы не обознаться, Соломон Иванович, немного волнуясь, проговорил фразу, заранее предусмотренную как раз на такой случай.

— Если вы играете в покер, то вам лучше идти прямо к Херувимову. Его кабак здесь самый известный.

— Ах, да, — на бледном лице человека в толстом пальто промелькнула полуулыбка. — Благодарю вас, я предпочитаю игры попроще.

Услышав отзыв, Соломон Иваныч в свою очередь широко улыбнулся, поняв, что Охотнику на самом деле нравятся только сложные игры, настолько сложные, что даже необходимый условленный порядок встречи с агентом он как будто извинял за его детскую наивность.

— Мне нужно очень многое вам сообщить, — поспешил сказать Соломон Иванович, — и смею надеяться, вы узнаете нечто весьма любопытное.

— Я читал ваши последние донесения, — прозвучало в ответ. — В них как всегда много толкового. Но должен сразу предупредить — все, касаемое коммерческих операций с землей и ваших махинаций с железнодорожной концессией, меня совершенно не занимает.

Шприх опешил от неожиданности. Как не занимает? Чего же ради он сюда притащился? Неужели мошенничество, то есть прямое воровство

казенных средств на сотни тысяч рублей, втянувшее почти всю губернскую верхушку, включая вице-губернатора и нескольких влиятельных чиновников из Петербурга, больше не достойно внимания департамента полиции? Кто же этим заинтересуется, окружной прокурор, жандармы? Или... и тут мысль Соломона Ивановича сделалась столь тонкой, что он почувствовал болезненный импульс крови в левом виске. Или они все повязаны. Тогда приготовленное сообщение, в самом деле, покажется Охотнику смешным.

С другой стороны, избавление с помощью сыскной полиции от полудюжины жадных людей из казенных ведомств, негласно участвовавших в предприятии Грега, было немаловажным мотивом Соломона Ивановича, так как доходы поверенного напрямую зависели от доходов его доверителя, то есть Грега. И чем меньше захребетников пришлось бы одаривать плодами их общих трудов, тем на большее личное вознаграждение можно было рассчитывать. Но если уж государственные мужи готовы покрывать воровство друг друга, то почему бы не получить компенсацию за те же труды хотя бы от тех, кто при удобном стечении обстоятельств осмелится на шантаж? То есть, от Департамента полиции? Охотник, прожженная bestия, и не может не знать, как легко заполучить в свой карман

немалые суммы, прикрывая чужие грешки.

Последнее предположение вернуло Соломону Ивановичу пошатнувшуюся, было, бодрость духа. Он посмотрел в лицо Охотника, но тотчас отвел глаза. Каким бы опытным собеседником он ни считал себя, но не сумел скрыть изумления, настолько изменилось это лицо со времени их последней встречи. И как бы в подтверждение впечатлений, пробежавших по глазам Шприха, Охотник немедленно закашлялся неудержимым лающим кашлем. Содрогаясь всем телом, он достал из кармана скомканный платок в темных пятнах, очевидно уже не раз извлекавшийся с той же целью.

— Да, дорогой Гиббон, — сказал он, отдышавшись, после того, как кашель прекратился, — чахотка. Дело дрянь. Соломон Иваныч, обычно с самодовольством воспринимавший свое агентурное имя и, особенно, из уст такого важного лица, каким был Охотник, на сей раз лишь раздосадовано выдохнул:

— Неужели...

Он отлично знал, что чахотка весьма заразная болезнь, поэтому попятился и встал несколько боком.

— Хорошо, — заметил Охотник с кривой ухмылкой.

— Что? — не понял Шприх.

— Хорошо, что вы так опасаетесь за свою

жизнь. Стало быть, я в вас не ошибся. Вы не упустите шанс сквитаться со своим врагом и моим... — Охотник запнулся, как будто подбирая точное слово, — моим альтерэго.

Соломон Иванович ничего не понял, но про себя отметил, что дело, похоже, действительно дрянь.

Розово-лиловый свет сумерек уже незаметно перешел в однородную и потому успокоительную полутьму. Маслянистые желтые отблески огней плескались в отяжелевшей воде, ударяясь о стенку пристани. И этот равномерный, сонный плеск тоже имел в себе что-то умиротворяющее. Прислушиваясь к нему, Гиббон с Охотником не на долго замолчали.

— Приходится признать, — сказал, прерывая безмолвие, Охотник, — я не рассчитал силы. Наверное, слишком увлекся.

Он склонился над перилами, задумчиво глядя в расходящуюся под ними черную, отливавшую антрацитом, водную гладь. Было похоже, что, погружившись в какие-то свои неотвязные мысли, он по привычке рассуждает с самим собой или, в лучшем случае, обращается к той млеющей бездне, что плыла у него под ногами. Во всяком случае, он не утруждался доступностью сказанного для слушателя. Многие слова, брошенные в черноту замершей реки, просто не доходили до Гиббона,

бесследно пропадая во мраке.

— Всю жизнь гонялся за тем, кого считал единственной стоящей добычей. Сжился с ней, сделался почти что ее тенью. Иной раз думал, протяни только руку — и будет моя. Но не тут-то было, Зверь всегда опережал, оказывался хитрее. Я проигрывал, может быть, проиграл совсем. Но видите ли... мне нельзя умирать сейчас. Для смерти я слишком взволнован. Мне необходим покой, нужна уверенность, что моя тень не задержится здесь надолго. И вот отчего я вынужден прийти сюда и говорить с вами, любезный Гиббон.

Охотник беззвучно засмеялся и почти сразу закашлялся. Соломон Иванович, хотя по-прежнему ничего не понимал, решил спокойно дожждаться, когда разговор сам собою подведет его к сути. Таким он Охотника никогда не видел. Близость одновременно обреченного, и вместе с тем, по-прежнему таинственно-могущественного человека, наводила его на мысль о небывалой важности всего, что происходило с ними в эту минуту.

— Что ж, я готов, — сказал Шприх доверительно, — как говорится, всегда рад быть вам полезным.

— Да, да — прохрипел Охотник, все еще не справившись с охватившим его приступом удушья. — Вы мне теперь очень нужны. Он вытер

платком покрытое испариной лицо, и заговорил спокойней.

— Как и у всякого человека, у вас, Гиббон, есть свои страсти, точнее одна страсть — деньги. Видите, все мы чем-нибудь, да бываем заняты, пока коротаем время. В этом нет ничего предосудительного. Иные отдаются своим занятиям вяло и безотчетно, едва-едва перенося постылое бремя. Другие, точно ужаленные, не замечая ничего вокруг, кроме избранного ими предмета безумия. Я, к примеру, делал вид, что оберегаю общественное спокойствие, ловлю разную уголовную нечисть, а на самом деле, будучи таким вот безумцем, искал только одного, единственного, не преступника, нет... Вы скоро все узнаете... но того, кого считал и считаю Зверем. Тем самым, с большой буквы. Борьба с ним сначала увлекла меня, потом — поработила, и, наконец... привела на этот мост. И, однако, я не имею причин жалеть о себе. А вы, Гиббон, человек более прямодушный, не утруждали себя притворством, и откровенно и ненасытно занимались стяжательством. Но, согласитесь, если вы и преуспели, в удовлетворении этой страсти, то не настолько, чтобы быть довольным собой. Сознайтесь, Гиббон, что перед вами все последнее время, во всяком случае, около десяти последних лет, был человек, искушавший вас. Он был в одном лице вашим учителем и... ну, если угодно,

идеалом, потому что, почему бы и у вас, Гиббона, не быть идеалу. Ведь вы завидовали ему, правда?

Соломон Иванович на сей раз отчетливо понял каждое слово, сказанное Охотником. Эти слова, особенно те, что были обращены напрямую к нему, отозвались в нем учащенным сердцебиением и таким томительным напряжением во всем теле, что Соломон Иваныч, позабыв всякие опасения, невольно подался вперед, сделав шаг к Охотнику.

Да, этот Охотник умел резать по живому. Он мог заставить слушать себя, даже стоя одной ногой в могиле. Он все еще мог подчинять не силой и не данной ему полицейской властью, а тем, что не оставляло человеку выбора — его собственной, человеческой уязвимостью. Таким уязвимым местом, Ахиллесовой пятой в натуре Соломона Ивановича была безудержная алчность. Охотник, конечно же знал о ней, иначе как бы они могли найти друг друга? Но оказывается, ему известна и производная этой безудержной алчности — столь же безудержная, но еще, пожалуй, более беспощадная зависть, вот уже несколько лет снедавшая Соломона Ивановича и не дававшая ему спокойно наслаждаться теми немногими удовольствиями, которые он покупал благодаря своему божеству — деньгам.

В самом деле, Шприх не мог не завидовать. С самых первых дней знакомства с Греггом, он ощутил

в себе эту саднящую, ноющую тоску, не оставлявшую его с тех пор ни на минуту. Шприх увидел рядом с собой человека, каким он сам не раз представлялся себе в сокровенных мечтах и каким никогда бы не мог быть в действительности. Когда он пытался откровенно подражать, то делался просто жалким.

Грег был весел и смел. Его смелость, казалось, не отнимала у него ни грана душевных сил, а была неотъемлемой частью его существа. Его всегдашняя беззаботность, с какой он перечеркивал общие для всех правила, превращала его силу в обольстительное орудие, которому мало кто мог противостоять.

Удивительно, но Грег нравился почти всем даже тем, кто его ненавидел. Грег был красив, Шприх — безобразен. Когда Грег обманывал, те, кого он обманул, находили его обман на редкость изобретательным, и поэтому снисходили до заочного прощения. Когда точно такой же обман совершал Шприх, его проклинали последними словами и преследовали до тех пор, пока это позволяли силы. Обольстив очередную жертву своего минутного увлечения, Грег слышал летящие ему вслед проклятья, в которых на самом деле звучали слезы и боль обманутой любви. Шприх, как ни старался, не увлек за всю свою жизнь ни одной женщины, а любовь покупал, как и почти все, чего

был лишен в изнурительной погоне за счастьем.

Почти все капиталы Грег пускал в оборот, а мелочь транжирил со свойственной ему бесшабашностью. Соломон Иванович, всякий раз заполучив свою долю от удачно проведенной операции, долго не мог прийти в равновесие и недели две-три пытался экономить на всяких пустяках, начиная, как ему думалось, складывать будущее состояние. Но вскоре почему-то выяснялось, что деньги закончились и нужно приниматься за новое дело. Когда Грег оказывался на мели, то становился самым веселым человеком на свете. Шприх, оставшись без денег, впадал в такое страшное угрюмое помешательство, что был готов перерезать горло первому встречному. И вот, спустя десять лет Соломон Иванович оказался перед лицом вопиющей несправедливости — состояние Грега, несмотря на случавшиеся уже пару раз банкротства, возросло вдесятеро против первоначального, а его собственный капитал, приобретенный с помощью мелкого мошенничества, изворотливости, осторожного подворовывания и прямого угодничества, едва-едва достиг самой ничтожной суммы. Как же было не завидовать?

— Вы угадали, — сказал Шприх, покорно вздохнув и снова делая шаг в сторону от перил. — Но, если уж я и завидую, то нахожу это чувство

вполне законным. У меня есть причины, если хотите. Видите ли, какое бы мнение вы обо мне не имели, но тот, о ком вы... он, этот человек...

Соломон Иванович остановился, не зная, стоит ли перечислять все имевшиеся у него многочисленные претензии к Грегу. Но вместо многих кипевших на сердце обид, вместо тайного восхищения и озлобленности, он обнаружил лишь то, что более всего относилось до его Ахиллесовой пяты: — Господин Грег ограбил меня, — твердо заключил он.

— Чтобы вы ответили мне, если бы я позволил вам без всякого сожаления расквитаться с ним? — спросил Охотник, видимо, не желая вдаваться в подробности «ограбления».

— То есть как будто бы с вашего одобрения? — слово «вашего» Шприх употребил в смысле, понятном им обоим.

— Да, делая благо для всех, — подтвердил Охотник. — Но без вмешательства властей. Будет лучше, если вы сделаете все сами, а власти можно использовать, не посвящая их в существо дела.

— Если так, то, конечно, я был бы вам весьма признателен. Но мне нужно знать подробности и, если можно так выразиться, причины, позволяющие вам предлагать мне это.

— Запаситесь терпением. Вам придется выслушать кое-что важное. Но здесь становится

холодно. Как говорится, пора уйти с открытого воздуха. — Охотник усмехнулся кривой ухмылкой. — Идемте внутрь. Я заказал для нас ужин.

Покашливая, он небрежно указал рукой на светящиеся окна трактира. Соломон Иванович не возражал. Черная лоснящаяся вода, расстилавшаяся кругом, начала давить на него. Он словно на миг почувствовал идущий из речной глубины бесконечный холод. По спине у него пробежал озноб. Он почему-то почувствовал именно этот вязкий маслянистый холод воды, а не остывающую прохладу вечернего воздуха, обеспокоившую Охотника. «Заболеваю я что ли?» — подумалось Соломону Иванычу, когда он нагнал ушедшего вперед Охотника и вслед за ним переступил порог веселого заведения.

XXVII

В отдельном кабинете во втором ярусе, под самой крышей был накрыт стол на двоих. Малиновая драпировка окон и стен, зажженная лампа с красным абажуром, красная наливка в графине, натюрморт с пунцовыми маками на стене, — все это яркое и сочное, бросающееся в глаза, оживило Соломона Ивановича. Он с жадностью набросился на еду и не сразу отметил

про себя, что Охотник, снявший пальто и оставшийся в новенькой, сшитой на заказ, визитной паре — первоклассная английская шерсть цвета «лион» в мелкий рубчик, накладные карманы, миниатюрный мальтийский крест на лацкане, — выглядит теперь еще более осунувшимся, чем показалось при первом взгляде, когда они встретились на мосту. Его бледное скуластое лицо то и дело покрывалось нездоровым румянцем. На окруженной редкими рыжеватыми волосами затылке проступала липкая испарина. Взгляд суженых раскосых глаз отчетливо напоминал лисий прищур. При этом один, будто бы мертвый, глаз смотрел тускло, без выражения, другой, отличавшийся более живым блеском, — остро и холодно. «Подумать только, а ведь когда-то был молодец хоть куда. Видать, укатали Сивку крутые горки. Ну да, чахотка и не таких крепышей на тот свет сводила».

Охотник ничего не ел, только потягивал время от времени из стакана остывший чай с лимоном и смотрел, как аппетитно заглатывает куски жаркого завербованный им агент.

Снизу, из ресторана доносился гул голосов и звуки музыки. Там, по просьбе гостей половые то и дело заводили на граммофоне одну и ту же пластинку. Сначала Шаляпин с арией Мефистофеля, потом оркестр Андреева,

исполнявший «Комаринскую». В промежутках между этим скрипучим механическим, но при этом все-таки замечательным во всех смыслах воспроизведением, в общем зале раздавалась вполне живая музыка ресторанного оркестрика, стилизованная под что-то восточное.

— Здесь недурно, — заметил, утирая жирные губы и берясь за графин с водкой, Соломон Иванович. — Не угодно ли? — спросил он, предлагая наполнить рюмку Охотника.

Тот молча кивнул, соглашаясь. Они выпили.

— Ну, так что же, — не вытерпел Шприх, первым возвращаясь к прерванному разговору, — что же он такое натворил, этот Грег, что я смогу с ним поquitаться, да еще и с вашего можно сказать, благословения?

— Вы когда-нибудь слышали про ликантропию? — прозвучал встречный вопрос.

— Нет, а что это?

— Это наследственная болезнь, впрочем, еще не достаточно изученная, чтобы можно было дать ей формальное определение. Наша наука не признает ее. Ученых отпугивает сама мысль о возможности чего-то подобного. Они уверены — то, что противоречит естеству человека, не может существовать. Следовательно, незачем тратить силы на изучение нелепой фантазии. Между тем, эта болезнь существует.

— А в чем она проявляется? Я признаться, плохо знаком со всей этой научной латынью и прочая. Из названия же ничего понять нельзя.

— Напротив, дорогой Гиббон. Вся ее суть в названии. Болезнь проявляется в превращении человека в волка, и наоборот.

Охотник сделал паузу и внимательно взглянул на Соломона Ивановича, пытаясь уловить его первые впечатления. Гиббон, как будто пораженный мгновенным параличом, замер с уже поднесенной ко рту вилкой с нанизанным на нее ломтиком жареного мяса. Он тупо уставился на своего покровителя и несколько секунд не мог отвести глаз от встречного острого взгляда. Соус капал ему на манишку.

— Как это может быть, помилуйте, — пролепетал Соломон Иваныч, все еще не веря, что Охотник говорит серьезно.

— Превращении, надо полагать, весьма мучительном, — как ни в чем не бывало продолжил тот, вяло отхлебнув чая, — потому как каждый переход из одного состояния в другое сопровождается полным преобразованием организма. Когда у младенца режутся первые зубы, у него поднимается температура, он плачет. И хотя вы тоже были младенцем, сейчас конечно, не можете помнить, каково это. Но, может быть, вы ломали когда-нибудь руку или ногу? Тогда вам легче было

бы представить страдания существа, вынужденного испытывать одновременное смещение и перерастание всех костей, не говоря о других внутренних органах. Да, полагаю, что это мучительно.

— Но этого не может быть.

— Знаете что, — сказал Охотник, — я дам вам почитать одну любопытную книжицу. Она обнаружилась, когда судебные приставы пришли арестовывать за долги имущество старого князя Ратмирова. Сам князь лежал тогда в общественной больнице в предсмертной горячке и через пару дней умер, а кредиторы готовили распродажу всего, что еще оставалось из обстановки в его усадьбе. Тетрадка эта лежала на дне потайного ящика в секретере, который стоял в княжеском кабинете. Секретер, между прочим, старинной работы, вместе с прочей мебелью пошел с молотка, а кое-что из бумаг досталось разбирать полиции, поскольку родственники вовсе не беспокоились о сохранности семейных реликвий. Так вот, многое из обстановки дома и, особенно, сведения из этой книжицы раскрыли мне тогда глаза на то, что и без того серьезно занимало в свое время. Вот полюбуйтесь.

С этими словами Охотник вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшую записную книжечку в сафьяновом переплете с

золотым вензелем в виде переплетенных букв А и Р и четырьмя крохотными полустертыми латинскими буквами: L, C, S, R, расположенными по краям примерно так, как указатели сторон света на компасе: по одной букве на каждой из сторон обложки. Охотник протянул ее Гиббону, заранее открыв на отмеченной странице.

— Хотя бы вот здесь.

Соломон Иваныч торопливо вытер салфеткой жирно лоснящиеся пальцы, нерешительно принял книжечку и недоверчиво посмотрел на желтоватые маленькие странички, исписанные трудным витиеватым почерком.

«Сентября, 14 дня.

Я уже не полагаю себя властным над собою. Моя жизнь, моя участь, увы, отданы силе более могущественной, нежели моя воля. Я не болен, я проклят. Сие проклятие есть наследство, о коем я слышал от моего бедного батюшки. Ах, зачем я не верил ему, зачем втайне насмеялся над его откровениями? Неужели пороки невежества казались мне столь ужасными, что могли заглушить и самый отчаянный вопль моего сердца? Если бы я послушал его тогда, если бы только поверил звучавшей в нем горести, то возможно, не знал бы нынешнего моего ужаса. Я пресек бы его. О да, у меня достало бы духу...»

Шприх поднял глаза на Охотника, и тот без

труда прочитал в них тоскливое непонимание.

— Это дневник, — сказал Охотник, предупреждая вопросы и недоумения, — и хотя на нем не проставлено имя автора, я провел небольшое расследование и выяснил, что автором был прадед нашего с вами общего знакомого, князь Андрей Федорович Ратмиров. Он жил примерно сто лет назад, застал войну с Наполеоном и умер при довольно темных обстоятельствах. Кстати, вензель на обложке дал мне подсказку. Если вы обратили внимание, он соответствует инициалам князя.

— А разве Грег... — Гиббон замолчал, пораженный внезапно открывшейся ему картиной.

— А разве вы не знали? — спокойно ответил Охотник. — Да, да, наш с вами герой на сегодняшней день — единственный прямой потомок этого рода. Заметьте, прямой потомок по мужской линии. Это очень важно.

— А что это за мелкие буковки по бокам? — спросил Гиббон, пробуя на ощупь сафьяновый переплет.

— Точно не знаю. Возможно, обозначение какого-нибудь магического заклинания, возможно, что-то еще. У меня не было времени возиться с этой абракадаброй. Главное было установить имя хозяина, и я это сделал. Дайте-ка сюда. — Охотник довольно бесцеремонно выхватил записную книжку из рук Гиббона и, перевернув несколько страниц,

строго добавил. — Я сам прочитаю вам кое-что отсюда. У князя Андрея был неважный почерк. В те времена было модно изящество, которое нам нынче кажется вычурностью. Впрочем, это к делу не относится. Слушайте.

Охотник, слегка покашляв для отвлечения возможного нового приступа, начал читать, внятно проговаривая каждую фразу.

«Сентября, 21 дня.

Мои предки владели всеми окрестными землями с незапамятных времен iure sanguinis. Упоминаю о сем не из гордости, имея иные основания для нее, нежели утверждение знатности. Древность рода вынуждает меня обратить на нее свой взор лишь оттого, что там, в глубокой пучине прошлого, зиждется основание всего нашего последующего благоденствия и всех наших злосчастий.

Итак, мои великорусские предки, князя Мышецкие, оставались последними удельными князьями, чья непокорность обратила на них гнев московского государя Ивана Васильевича, деда будущего грозного царя. Окруженный со всех сторон враждебными владениями,

отдавшимися под власть московского деспота, князь Федор Юрьевич Мышецкий решительно отвергал любые попытки коварством или золотом склонить его на сторону москвитян. Но участь его должна была повторить участь уже многих, чьи права, честь и самая жизнь были попорнены. Стать одним из многих бояр на службе великого князя или уйти в Литву, — вот то немногое, что оставалось ему для выбора. Потомок храброго Ратмира почитал оба сии пути бесчестными. Народ стоял за него и готов был с оружием обороняться от натиска Москвы. По известиям, доходившим оттуда, великий князь уже направил против строптивца Данила Щеню с немалой ратью, и Федор Юрьевич отважно готовился к встрече с сим достойным воеводою...»

— Ну, дальше идет описание осады Мышецка, стольного городка княжества, — оторвавшись от книжечки, пояснил Охотник, — городка, который сгорел во время штурма, и после уже никогда не возродился. Потом была отчаянная вылазка князя Федора Юрьевича за стены, «злая рать», говоря словами летописцев, и поражение мышецкого

князя. Раненый с остатками уцелевших воинов он попытался укрыться в некоем лесном затворе. По дороге их настигли посланные вдогонку люди Даниила Щени. А дальше слушайте, дальше следуют нечто занимательное. *Вот, где же, где... да, вот...*

«Удаляясь все дальше в знакомую чащу, они слышали звуки близкой погони, и отчаяние мало-помалу закрадывалось в их измученные сердца. Вот уже меж деревьев показались доспехи московских всадников, вот уже просвистело несколько пуль, выпущенных из пищалей в спины беглецам, вот уже упал, сбитый ударом кривой татарской сабли, ближайший друг Федора Юрьевича боярин Образец, и один за другим стали валиться с ног настигнутые москвитянами мышцецкие войны. Как вдруг событие странное и неожиданное прервало сие уничтожительное буйство.

Словно бы повинуясь чьему-то приказу, из глубины леса и всех укромных его уголков начали появляться стаи свирепых хищников и со стремительной яростью набрасываться на людей, посланных

воеводою Щеней. Не зная жалости, набрасывались они на обезумевших от страха москвитян, уже не помышлявших о преследовании князя Федора, но мечтавших только об одной милости — спасении от клыков жестоких своих убийц. Немногим из них удалось, по слухам, избежать гибели и выбраться живыми из леса. Но последовавшее от них известие о нападении полчищ волков было встречено всеобщим недоверием и вслед первому отряду, который почитался погибшим вследствие храбрости и воинского искусства князя Федора, был отправлен еще один с непременно условием привести в город Мышецкого князя живого или мертвого».

— По-моему, это похоже на сказку, — сказал Гиббон, воспользовавшись минутной паузой. — Откуда, в самом деле, у вас такое доверие к этой странной книжке?

— Сначала послушайте, что было дальше, — возразил Охотник. — Второй отряд тоже пропал в лесу. Когда через день туда была направлена уже большая воинская сила, то в чаще нашли множество изуродованных трупов. При том среди

них не было ни тела князя Федора, ни трупов его людей. И князь, и несколько его ближников бесследно исчезли. Их искали по всем окрестностям, ждали, что они вот-вот объявятся где-нибудь в соседних землях, в Новгороде, в Вятке или Пскове. Готовились немедленно схватить их и в цепях доставить в Москву. Наконец, полагали, что князь мог укрыться в Литве. Но проходило время, месяцы, годы, а следы Федора Юрьевича так и не обнаруживались. И вот какое объяснение этому удивительному факту мы находим у дальнего потомка Мышецкого князя, Андрея Ратмирова.

Охотник снова перевернул страницу записной книжки и прочитал:

«Князь Федор исчез для своих современников, но жизнь его продолжалась. Укрытый среди непроходимых лесов, в неведомом для людей затворе, он излечился от ран и однажды предстал перед своим спасителем. Это было то существо, мрачная природа коего вряд ли когда-нибудь будет отгадана. Оно имело в себе все приметы человечности и, вместе с тем, обладало свойствами, нам неведомыми. Князь Федор вступил в сообщение с ним и вскоре узнал, что

наследственные его владения, леса и земли мышецкие, давно были обитаемы могучим племенем, постепенно истребляемым самой природой. Племя расплылось по свету, но все еще обладало и силой, и тайным знанием, кои предложило князю Федору не названное существо, уверив его честным именем предков, что пути назад, к людям, для него отныне закрыты. Князь согласился. Ему было обещано, что, покуда будут живы его кровные наследники, их владычество над землями княжества останется неизменным, какие бы внешние власти не устанавливались над ними впредь. Подлинное, несменяемое господство, призванное служить благу той земли, коя и прежде была священна для князя, с непременным обязательством всеми данными ему средствами оберегать ее от злонамеренных посягательств в обмен на жизнь и свободу, недоступную в людском общежитии, и потому — прекраснейшую, но ценою тяжкою даже и по мысли.

Таковы были условия их соглашения, скрепленного в кровавом обряде верности. Князь должен был